

На любой остановке сойди...
Из песни
Здесь будет город заложен
Назло...
А. С. Пушкин

ГЛАВА 1

Васильев посмотрел на расписание движения поездов, висящее над проходом к кассам. Поезд в Город уходил через час. И было указано, что билеты в направлении Города — в кассе номер шестнадцать. Васильев прошёл в кассовый зал. Шестнадцатая располагалась у входа, слева за бетонной колонной. Васильева порадовало то, что привычной очереди не было.

— Научились работать наконец-то! — довольно отметил Васильев и подошёл к окошечку.

— Один до Города, — сказал Васильев и начал рыться в бумажнике.

— А зачем вам в Город? — спросила кассирша.

Васильев оторопел. Потом рассердился. Потом начал считать до десяти, чтобы успокоиться. Но успел сосчитать только до восьми.

— Я вас русским языком спрашиваю, мужчина, — зачем вам в Город? — повторила кассирша свой нелепый вопрос и добавила ядовито:

— Давай, соображай скорей. А то вас тут много таких...

Васильев взялся соображать, но тут из-за васильевской спины в окошко кассы протянулась рука с деньгами и мужской голос пробасил:

— Один до Города. Командировка.

Кассирша приняла деньги, пощёлкала клавишами на загадочных аппаратах и выдала билет.

— Вот видите, мужчина? Человек объяснил цель визита — и никаких проблем.

— А зачем объяснять? — спросил Васильев несколько грубовато.

— Инструкция.

Кассирша сделалась любезной, как нянька в детском саду:

— Город — закрытая территория. По инструкции положено спрашивать цель визита. А то... — кассирша закатила глаза в потолок.

— А то что? — Васильев чувствовал, что сейчас сорвётся и начнёт орать.

— А то, — терпеливая кассирша перестала рассматривать потолок и взялась рассматривать Васильева. — А то, что в противном случае вы никуда не приедете. То есть приедете, конечно. Но куда угодно, только не в Город.

Кассирша замерла, наслаждаясь произведённым эффектом. А потом снова ожила:

— Я Вас в который раз спрашиваю, мужчина? Глухой? Цель визита?

Васильев замялся:

— Да, собственно... Я родился в этом Городе... Понимаете...

Он чуть было не обмолвился о том, что Город снится ему каждую ночь, но не успел.

— Так что же Вы тогда молчите, что возвращенец? — заорала радостно кассирша. —

Так бы сразу и сказали. А то молчит, как партизан на допросе.

Она деловито выхватила у Васильева деньги, так же деловито потрещала загадочными клавишами, выдала билет и сдачу и пожелала счастливого пути.

Васильев взял билет и пошёл в вокзальную столовую, размышляя на ходу, что бы мог значить этот загадочный допрос в кассе?

Уже запивая шницель по рижски компотом, он решил, что волноваться и ломать себе голову не стоит. Он уехал из Города двадцать лет тому назад, и за этот срок обязательно должно было что-то измениться. Возможно, что изменились правила на

железной дороге. Успокоив себя, Васильев забрал чемоданы из камеры хранения, вышел на перрон и даже успел покурить до прихода поезда.

Соседи по купе подобрались скучные. Потрепаться было не с кем. Да и кому охота разговоры разговаривать с шестидесятилетним стариком? Васильева вполне устроила эта мысль. Он достал книжку. Начал было читать, но заснул, перелистнув несколько страниц, и проснулся от голоса проводника:

— Следующая Город. Прошу приготовиться к выходу.

Васильев уставился в окно. Уже вечерело, и за окном были видны лишь цепочки огней, складывающиеся в замысловатые узоры. Васильев попробовал угадать по этим узорам знакомые места, но ничего узнать не смог. А тут сразу вывернулся вокзал с кучкой встречающих на перроне. Васильев подождал немного, пока в коридоре рассосётся толпа, и вышел со своими чемоданами в тёплый вечер.

Он пристроил чемоданы в металлическом гробике автоматической камеры хранения, а сам через боковой ход — на привокзальную площадь.

— Чем брать такси, пройду как я до гостиницы пешком. Совмещу прогулку с воспоминаниями, — решил Васильев, глянув на очередь на стоянке такси. И двинулся по старинной брусчатке. Город лежал у него под ногами. Это потому, что вокзал стоял на горке, а город раскинулся внизу. Уже включили фонари, и были видны тени редких прохожих.

— А в мои годы тут по вечерам самый центр тусовки был. И встречались - расставались, и ссорились и мирились... — с грустью подумал Васильев, проходя мимо киоска со всякой мелочёвкой.

— Олечка! — окликнула его продавщица киоска, — забеги ко мне. Я тут оставила кое-что для тебя.

Васильев сразу вспомнил, что киоскершу зовут Ольга Степановна, и что она, по доброте душевной, всегда оставляла для него дефицитные сигареты с фильтром. Васильев толкнулся в дверь позади киоска. Тотчас дверь приоткрылась, в дверной щели показалась рука с пакетом и раздался голос:

— Бери скорей! Чего ждёшь? Рубль с тебя.

Васильев взял пакет, и дверь закрылась. Он снова обошёл киоск и, уже стоя перед стеклянной витриной, начал копаться в кошельке. Как она сказала? Рубль? Шутки тут у них... рубль, — и Васильев протянул Ольге Степановне доллар.

— Ты что? Офонарел, парень? Ты что же это мне даёшь? — Ольга Степановна уставилась на зелёную купюру так, как если бы Васильев подал ей вместо денег ручную гранату. Налюбовавшись, Ольга Степановна, вздохнув, отодвинула от себя странную денежку и подобрела:

— Ладно, Олечка. Что с тебя возьмёшь? Вечно фокусничаешь. Нет денег — так и скажи. Завтра занесёшь. А то подшучивать над старухой взялся.

Васильев посмотрел на Ольгу Степановну. И стало Васильеву нехорошо. Потому что за двадцать лет Ольга Степановна нисколько не изменилась. Как была “сорок пять — баба ягодка опять”, так и осталась. Васильев поблагодарил Ольгу Степановну и повернулся лицом в сторону вокзала. И тут Васильеву стало ещё хуже. Потому что на фронтоне вокзала сиял, составленный из красных лампочек, транспарант: “Слава КПСС!”

Васильев развернулся и пошёл вниз по улице к гостинице, думая о том, что вот так и сходят с ума. Просто и обыденно. И некому пожаловаться и рассказать о своём горе. Ну кто в это поверит? Васильев добрёл до бывшего Городского бульвара и присел на лавочку под тополями. Он автоматически сунул руку в пакет, что вручила Ольга Степановна. В пакете лежали три пачки “Элиты”. Васильев раскрыл одну пачку и закурил.

— Эй, старик! Выдай сигаретку другану! — прохрипело слева, и перед Васильевым возник бомж, лохматый и оборванный.

Васильев присмотрелся. Перед ним стоял бывший школьный товарищ Колька Щукин. Только очень старый. Васильеву отлегло немного. И он решил, что съеденный шницель был не совсем хороший и что предыдущие галлюцинации вызваны

заурядным пищевым отравлением.

— Ну что? Признал? — сказал Колька, садясь на скамейку рядом с Васильевым. Васильев кивнул головой.

— Это хорошо, что признал, а то некоторые чураются, — похвалил Колька Васильева, вытряхнул несколько сигарет из пачки, которую Васильев всё ещё держал в руке, и ловко рассовал эти сигареты за уши. — А то, понимаешь, спиртыга есть, а ни тебе запить, ни закурить. — И Колька показал горлышко бутылки, засунутой во внутренний карман того, что осталось от пиджака. — Будешь? Ну как хочешь. Моё дело было предложить...

Колька глотнул из бутылки, занюхал рукавом и только потом закурил.

Васильев подумал, что вот как оно бывает: не виделся лет тридцать, не меньше, а поговорить не о чем.

Но Колька нашёл тему для разговора:

— Дай-ка, парень, я тебе пульс пощупаю. Давай, давай! — Колька схватил руку Васильева своей грязной лапой и прислушался.

Всё нормально, профессор. — Колька назвал Васильева школьной кличкой. —

Всё в порядке. А то... Ты выпей, брат, а то крыша протечёт, чего я тебе расскажу.

— Щука! Ты зачем мне пульс щупал? — Васильев был насторожен и недоверчив.

— Ты в зеркале давно себя видел? — озадачил Колька Васильева.

Васильев посоображал немного и признался:

— Утром... Когда брился...

— Ты сейчас на себя посмотри, а потом с вопросами выставляйся.

Колька порылся в своих лохмотьях и достал круглое ручное зеркальце.

Васильев взял этот неизменный атрибут дамской косметички, и тогда ему стало так плохо, что, держа правой рукой зеркало, он левой потянулся к Колькиной бутылке и сделал пару глотков. Потому что увидел в зеркале Васильев себя самого сорокалетним. Исчезла седина, разгладилась морщина, и тяжёлые синеватые мешки под глазами испарились неведомо куда.

— Вот-вот, братан! — правильно понял Колька васильевское молчание. — А ты думал... хаханьки.

— Что это, старина? Как это? — промямлил Васильев и для прояснения мозгов снова приложился к бутылке с тёплым разбавленным спиртом.

— Я тебе скажу как другу, только ты не перебивай. — У Кольки неожиданно появились менторские интонации. — Ты не перебивай. Сам видишь — я уже кривой и могу забыть что или перепутать.

Васильев согласно кивнул и Колька начал свой рассказ:

— Лет пять тому назад сели мы с мужиками вон там, в татарском дворе. Сидим.

Разговор уже пошёл. А тут выскакивает какой-то ханурик и начинает права качать.

Кричит, что он такой и сякой, и ваще сейчас в ментовку позвонит. А Синяк... Ты должен его помнить... Он в "Б" классе учился. Так вот. Синяк... А он даже слово мент не выносит, не то чтобы... Вот он схватил кол да и приложил этому ханурику по котлу. А сам — бежать. А ханурик — брык с колёс. И лежит. Я ему пульс пощупал — нету пульса! Ну, думаю, попал. Попробуй теперь от мокрухи отмазаться. А пока я думал, ханурик этот встал и пошёл. Так, без пульса, и пошёл себе. Я с той поры у всех пульс проверяю. И вот что я тебе скажу, друган. Ты не поверишь, блин! Здесь у нас многие без пульса. Покойники, что ли? Но живут, как ни в чём ни бывало. И не стареют, что примечательно. Кроме таких, как я, конченных. Зря ты, брат, вернулся. Видишь сам — только приехал, а уже помолодел. А дальше? Приехать-то к нам можно, а вот уехать нельзя.

— Как это нельзя? — спросил Васильев, которому в историю с пульсом верилось плохо: мало ли что алкашу почудится?

— А вот так, — сказал Щука и поднялся. — Пойду-ка я в свою конуру, Олега. А то хмелеуборочная заметёт.

Васильев посидел ещё немного, посмотрел на удаляющегося Кольку, а потом и сам поднялся. Он шёл по улице и всё думал о том, что же происходит. И, может быть, и

придумал бы, но вышел на площадь, на которой стоял бетонный параллелепипед гостиницы.

Васильев попросил у сонной дамы отдельный номер и подал свой паспорт.

Дама посмотрела на американские корочки и проснулась:

— Посидите в холле, пожалуйста, мистер, — проворковала она. — Я посмотрю для Вас что-нибудь получше. Не беспокойтесь — это займёт минут пять, не больше.

И дама не обманула. Ровно через пять минут к Васильеву подошли двое симпатичных мужчин, показали свои удостоверения и попросили пройти с ними.

Город — это живой организм. Сомнений в этом нет и быть не может. С той давней поры, как неандертальцы, — или как там их ещё? — обнесли свои десять землянок частоколом, город родился и, как всякий новорожденный, начал расти и развиваться.

— Я — Город, — сказал город сам себе, — потому что я огорожен. Не то что какая-нибудь деревня...

В детстве я никак не мог решить: “деревня” — это потому что она из дерева построена, или потому что там деревья растут? Остановился, помнится, на первом варианте.

И город отлично знает, что он обязан создать хоть одно каменное строение, иначе он потеряет свой статус и превратится в деревню.

То, что дома в городах возводят архитекторы и строители — заблуждение, и не более. Города сами подбирают себе архитектуру, нанимают строителей, выбирают жителей и организуют эксплуатационно-ремонтные организации.

Ах, какие модники эти города! Какие кокетки! Вот попробуйте построить дом, который городу не нравится. Попробуйте. Ничего у вас из этой затеи не получится. Строители будут запивать, подрядчики воровать, а стройматериалы исчезать со стройплощадки в неизвестном направлении. И если, несмотря ни на что, вам удастся довести строительство до конца, то дом сгорит — или взорвётся, или... Город много чего может придумать, чтобы избавиться от неполюбившегося.

Город — организм сложный. Запутанный кишечник канализации, нервы электрических проводов и кабелей, системы отопления и водоснабжения. Непонятная никому схема поставки продуктов. И невнятная сетка улиц. Можете смотреть на карту, пока в глазах не позеленеет, но если город захочет, чтобы вы заблудились — заблудитесь непременно. Даже там, где вы родились и прожили всю жизнь.

А рождение — это вообще непонятный процесс. Каждый город убеждён, что это именно он, и никто иной, родил знаменитого человека. Нет... Знаменитого — это как-то... Знаменитый — он знамя должен нести, высоко это знамя вздымая. Скажем так — Известного. А иногда и Великого. И мы, как ни странно, разделяем это убеждение. Вот цитата из энциклопедии: “1799, 26 мая (6 июня). А. С. Пушкин родился в Москве...”

То есть сначала родился в Москве, а только потом о тех, кто его реально родил.

Люди тоже привыкают к тому, что в их появлении на свет город играет самую главную роль. И называют себя по именам городов — москвич, бакинец, скобарь, новгородец, туляк, парижанин... О! Парижане! Величайший миф, который создал тщеславный город. Он и так пробовал, и этак... И революции придумывал, и Луёв бесчисленных, и Наполеона... И успокоился только тогда, когда стальным фаллосом взметнулась над городом Эйфелева башня и возник миф, что это город любви. Берлин может свои Парады любви ещё сто лет проводить — всё будет зря! Потому что место занято. Париж со своими костлявыми женщинами и некормленными мужчинами арабского происхождения был, есть и будет городом любви, моды и прочих плотских удовольствий.

Жители некоторых городов вообще позабыли своих родителей. И появились Ростов-папа, Одесса-мама... Но всех переплюнул Киев, присвоивший себе странный титул — “Мать городов русских”... После этого горожанин любого городишки просто обязан считать себя киевлянином.

И только генетические бродяги — американцы — привязаны не к городам, а к работе. Скажите любому “среднему американцу”, что на необитаемом острове он получит хорошую работу. Максимум через два часа он будет готов к отъезду. А месяца через три уже будет на этом необитаемом острове в собственном доме смотреть бейсбол по

телевизору и пить пиво “Бадвайзер”.

Что касается рождения самих городов, то они возникают только в определённых местах. И мест этих уже не меняют никогда. Войны и стихийные бедствия ни на что не влияют — город, стёртый, казалось, с лица земли, упорно вырастает на прежнем месте. Ну чтобы отойти в сторону немного? Там и место покрасивее, и безопасней. Нет. Ни на шаг! Великая загадка исчезновения городов майя объясняется просто — они были построены не там, где им хотелось.

У каждого города — свой характер. И у жителей разных городов характеры свои. Вот попробуй тут разберись — горожане формируют характер города или город характер горожан? Я склонен думать, что город.

Здесь нелишне вспомнить феномен Одессы. Боже ж ты мой! Куда бы жизнь ни заносила человека, рождённого в Одессе, он будет отличаться от рождённых в иных городах, как чукча от англичанина. И, не дай бог, соберутся где-то хотя бы три одессита. Они обязательно самоизолируются от остальных недостойных жителей и назовут свой микрорайончик “Маленькая Одесса”. И сразу же начнут там растить, холить и лелеять не существующий нигде, кроме Одессы, еврейский акцент и откровенное хамство, называемое одесским юмором.

Города разумны. Это неоспоримо. Это надо воспринимать как данность. Коллективные умишки различных социальных групп сливаются в городе воедино и формируют городской интеллект.

И — согласитесь со мной — любое разумное существо однажды может сойти с ума...

ГЛАВА 2

Город спал. Сладко посапывали, а иногда и храпели в своих кроватях взрослые и дети, рабочие и служащие, не говоря уже об интеллигенции, которая, несмотря на то, что по своей сути всего лишь прослойка, но тоже спать хочет. Спали собаки, кто в будках, кто на хозяйских ковриках, а кто и на голой земле. Спали умные вороны на ветвях столетних тополей. Спали сторожа в своих будках. Спали любовники, натешившись от души. Спали супруги, отложившие под предлогом головной боли исполнение своего долга на потом. Спали следователи Васильева, довольные тем, что поймали наконец-то вражину, так ловко таившего свой звериный оскал под маской простого туриста. Спали все. Только Васильев всё ходил по камере-одиночке от стены к стене и пытался понять, что происходит.

И конечно, он был очень испуган. Он вспоминал, как зять отговаривал его от поездки, утверждая, что Васильева непременно арестуют как американского шпиона. И вот — пожалуйста! Он был прав. А вдруг ещё и пытать начнут? С них ведь станется.

После того как прошагал Васильев километров тридцать, он устал. И присел на нары, чтобы перекурить. И тут же возникла новая проблема. Васильев не умел крутить самокрутки. А после ареста у него не только изъяли часы, документы и деньги, но и разломали каждую сигарету на части и вместо зажигалки выдали коробок спичек и газету. Табак, выпотрошенный из сигарет, был аккуратно завернут в кулёчек и со словами: “Бери, блин! Мы же не звери какие” выдан ошеломлённому Васильеву.

Васильев несколько раз видел в кино: идейные крестьяне, перед тем как изречь что-нибудь мудрое, ловко крутили самокрутки. Васильев оторвал кусок газеты, насыпал на этот обрывок табак и начал стараться. Но непростое это было дело. Ох, непростое. Табак просыпался на пол, газета рвалась в самый ответственный момент... И

Васильеву хотелось плакать от беспомощности. Но в конце концов хитрое сооружение было выстроено и Васильев закурил. А затаившись несколько раз, начал рассматривать жалкие останки “средства массовой информации”, что выдали ему в дежурной части. Васильев прочитал название “Красное знамя” и только потом дату выхода — 29 апреля 1981 года. Дальше он читать не стал, а просто курил и тупо смотрел на дату. И как только докурил, так сразу его и осенила простая, казалось, но, по сути, гениальная мысль:

— Это у меня бред! Это у меня пищевое отравление, и я в реанимации. И я просто-напросто брежу.

Потом вспомнил Васильев, что в том здании, где было расположено сначала НКВД, потом Гестапо, потом снова НКВД, уже много лет находится женское общежитие пединститута, и немного успокоился, потому что вряд ли его там пытать будут.

— И даже если мне пригрезится, что меня пытаются, то это тоже будет всего лишь бред. Такой же как и всё остальное здесь.

Эта мысль так понравилась Васильеву, что он совершенно успокоился, сходил на парашку и заснул на нарах сладким сном человека, который только что решил задачу квадратуры круга.

Утром Васильева поднял мрачный сержант, сводил оправиться, а потом выдал кружку кипятку, два кусочка сахара-рафинада и ломоть чёрного хлеба. Васильев с удовольствием позавтракал, повозился с самокруткой и закурил, довольно отметив про себя, что в этот раз мучений с табаком было меньше.

А действительно. Чего я переживаю? — утешал себя Васильев. — Современная медицина творит чудеса. И рано или поздно я приду в сознание. И этот бред закончится.

Тут снова сержант прогремел металлической дверью и повёл Васильева на допрос. В кабинете, куда привели Васильева, следователей было двое. Один — очень любезный, но суетливый. Он сразу же предложил Васильеву сесть и спросил, какой кофе сварить — покрепче или послабее. Второй молча сидел за столом под чёрно-белым портретом Дзержинского и причёсывался. У него была ровненькая детская чёлочка, закрывающая не только лоб, но и брови. И он время от времени доставал расчёску и проводил ею по волосам. Потом энергично фукал на расчёску и прятал её в нагрудный карман пиджака.

Оба следователя были в штатском.

— Ну что? Признаваться будем или как? — недружелюбно спросил тот, что с чёлочкой.

— Я — старший следователь капитан Фесенко. И мне поручено вести расследование твоих преступлений.

Васильев подумал немного, а потом сказал:

— Я — гражданин Соединённых Штатов Америки Олег Петрович Васильев. Я требую консула и адвоката.

— Требуй. Твоё право, — согласился Фесенко. — А где мы тебе этого консула возьмём? Родим, что ли?

Второй следователь радостно засмеялся и поставил на стол перед Васильевым чашку кофе. Потом подумал и добавил пачку сигарет. Васильев не стал отказываться от халявы. И кофейку глотнул, и закурил.

— Ну так что? — Фесенко начал писать на бланке. — Так и запишем — Олег Петрович Васильев. — Потом почесал шариковой ручкой подбородок, — с какой целью прибыл в Город? Организация диверсий? Сбор разведданных? Организация шпионской подпольной сети?.. Зачем, короче, приехал?

Васильева такая масса идиотских вопросов стала раздражать:

— Вы что? Чокнулись тут массово? Я родился в Городе. Имею я право посетить родительские могилки?

И тут зазвонил телефон. Фесенко взял трубку:

— Старший следователь капитан Фесенко слушает.... Есть... Понял... Слушаюсь... Есть...

Потом он нажал кнопку селектора и прорычал:

— Фесенко говорит. Вещи временно задержанного Васильева немедленно ко мне!

После этого Фесенко в очередной раз пригладил расчёской чёлочку, встал из-за стола, пошептал на ухо коллеге, сказал:

— Разбирайся сам, лейтенант, — и вышел, хлопнув дверью.

Весёлый лейтенант тут же занял освободившееся место во главе стола, покрутил задом, устраиваясь поудобнее на стуле, и представился:

— Лейтенант Савин.

Потом помолчал немного для торжественности момента и продолжил:
Значит, так, гражданин Васильев. Дело ваше закрыто. Был звонок сверху.
Оказывается, Город Вас помнит как работника идеологического фронта, так сказать, и выражает уверенность, что и в дальнейшем вы приложите все силы, знания и, я не побоюсь сказать, талант для воспитания подрастающего поколения, так сказать, в духе... и прочее... сами понимаете. На прежней работе в Бюро оркестров вы уже восстановлены. Кстати, завтра Первое мая. И вам доверено с группой товарищей вести первомайский репортаж с площади Ленина. Текст репортажа и пропуск на площадь уже у вас дома. А вот и ключи... — лейтенант Савин достал из ящика стола ключи на брелоке и торжественно выложил на стол.
Сказать, что Васильев растерялся, — это ничего не сказать. Пока лейтенант двигал свою речь, в голове Васильева возникло не менее сотни вопросов. Но задал он только один:
— Как же это — Первое мая? Я, как помню, в августе сюда приехал...
— Не волнуйтесь зря, гражданин. — Савин был просто счастлив, заметив васильевское недоумение. — Просто в Городе на практике осуществилась великая мечта всего человечества, и сказка стала былью. Вот поживёте немного у нас... освоитесь... сами поймёте, что к чему. Теперь что касается Первого мая. Согласитесь, что у трудящихся, у нашего доблестного рабочего класса должны быть и праздники, а не только будни. И чем больше этих праздников, тем лучше. Вот, к примеру, завтра Первое мая, а послезавтра — Новый год.
— Какой Новый год? — снова возник Васильев. — Новый год зимой, а сейчас лето.
— А у нас всё время лето, — объяснил Савин Васильеву, как неразумному ребёнку. Поэтому Новый год мы празднуем когда захотим. Да! Вот ещё! — спохватился следователь. — Совсем вы меня заболтали. Вот ваши вещи, изъятые при аресте, — он пододвинул поближе к Васильеву пакет. — Можете и не проверять — нам чужого не надо. Правда, ваш американский паспорт заменён на наш. Только представьте, с какой гордостью вы будете вынимать из широких штанин!.. Доллары Ваши обменены по действующему курсу — девяносто четыре копейки за доллар.
— Спасибо, — сказал Васильев. Уж очень ему хотелось побыстрее вырваться из этой конторы.
— Вот и хорошо, что мы нашли взаимопонимание, — зардовался лейтенант. — Я уверен, что и по следующему вопросу мы найдём точки соприкосновения. Васильев изобразил предельное внимание.
— Вы, товарищ, должны понимать, что посильное сотрудничество с нами — это большая честь для любого гражданина, тем более коммуниста.
— Я беспартийный, — перебил Васильев, — и никогда не был членом.
— Странно, — удивился Савин. — Но, в конце концов, это дело времени. Рано или поздно Партия окажет вам доверие... Так о чем это я?.. Да! Я о том, что сотрудничество — это большая честь.
— Так вы и есть эти самые честь, совесть и разум эпохи? — неискренне удивился Васильев.
— Увы, — с грустью отметил лейтенант. — Честь у нас в Горкоме находится, ум — в Горисполкоме, а совесть в Народном суде.
— А вы тогда что? — задал Васильев нелепый вопрос.
— А мы — прямая кишка, — гордо ответил Савин и, заметив Васильевскую улыбку, добавил: — Без ума, чести и совести всю жизнь жить можно, а вы попробуйте хотя бы недельку пожить без прямой кишки. То-то!.. Так вот, мы предлагаем вам сотрудничество. И мы уверены, что с вашей энергией и работоспособностью вы окажете неоценимую услугу, так сказать...
— Не имеете права, — спокойно сказал Васильев и, увидев недоумение лейтенанта, пояснил: — я — иностранный гражданин. Следовательно, мою вербовку должен вести отдел внешней разведки. А у вас такого отдела нет.
— Действительно... Как-то не продумали этот вопрос, — разочарованно протянул лейтенант, но тут же воспрял духом. — Но мы ещё встретимся. Вот решим этот вопрос,

получим полномочия, так сказать, и встретимся.

Лейтенант Савин выписал пропуск на выход. Васильев сгрёб пакет со своим барахлишком, прихватил на дорожку лейтенантскую сигарету — и оказался на воле. А на воле было хорошо. Васильев прошёл мимо здания детской больницы, во дворе которой красовались трёхметровые бетонные фигуры зверей. Видимо, по замыслу скульптора больные дети должны были радостно выбегать в больничный двор и водить хороводы вокруг этих монстров.

Васильев прошёл, не торопясь, в городской парк, присел там на скамейку и закурил лейтенантскую сигарету. Надежд на то, что всё происходящее — бред, почти не осталось. Васильев курил и думал, что всё просто — это или он сошёл с ума, или город. Оставалось только понять — кто. Васильев начал рассуждать:

— Говорят, что сумасшедший не допускает и мысли, что он сумасшедший. А я такую мысль допускаю. Значит, я здоров. И сошёл с ума не я, а Город. А если Город сошёл с ума, то всё происходящее вполне объяснимо.

Васильев поднялся и побрёл к своему бывшему дому, думая о том, что надо просто принять правила игры. И потихоньку придумать, как отсюда вырваться.

Улица, по которой шёл Васильев, была уже в праздничном наряде: между домами висели гирлянды разноцветных лампочек и транспаранты “ Мир, труд, май!” Витрины магазинов тоже были убраны в красное. Васильев, идя через центральную площадь с памятником Ленину, а потом по улице мимо магазина тканей, мимо странного Парка скульптур с изваянием Дон Кихота, у которого пацаны не только обломали меч, но и пооборвали медные латы, мимо чудом сохранившихся строений девятнадцатого века, всё пытался понять хоть что-нибудь, но так ни до чего и не додумался.

ГЛАВА 3

Васильев поднялся на третий этаж дома, в котором жил когда-то. Постоял возле двери квартиры. Ему почудилось жутковатое эхо, которое гуляло по пустым комнатам перед отъездом. Потом порылся в кармане и достал ключи. А достав, удивлённо отметил, что в связке не только ключ от квартиры и почтового ящика, но и от машины, и гаража. — Это хорошо, — отметил Васильев, открывая дверь. — Это всё-таки транспортное средство. Значит, есть на чём...

Васильев вошёл в коридор. Всё было так же, как в добрые старые времена, когда он ещё и не помышлял об отъезде. Васильев походил по комнатам, отметил, что пыли не было, погладил корешки книг, удивился тому, что рыбки в аквариуме живы, и сел на кухне перекурить.

Он включил радиоприёмник, стоявший на холодильнике. Потом вытряхнул на стол содержимое пакета, вручённого ему весёлым следователем Савиным.

По радио мужской голос пел песню из кинофильма “Я шагаю по Москве”. Но что-то в этой песне было не то. Васильев прислушался и сразу понял что. Баритон пел: “А я иду, по Городу иду...”

Баритон старался, а Васильев, подпевая, перебирал своё имущество. Паспорт был в полном порядке — прописка, штамп о браке и прочие ненужные нормальному человеку отметки. В бумажнике — девятьсот шестьдесят два рубля. Васильев решил, что на первое время хватит, а там он обязательно найдёт возможность вырваться на волю. Лежали ещё в бумажнике не только советские водительские права и техталон, но и васильевский военный билет офицера запаса. Васильев взял свои часы на металлическом браслете и собрался было надеть их на руку, но спохватился — часы стояли. Васильев хотел было выругать тупарей, испортивших дорогую вещь, но тут же замер и вслушался. Входная дверь открылась, скрипнув, и в коридоре послышались шаги. Васильев схватил кухонный нож и вжался в стенку возле двери.

— Ты это... кончай за колюще-режущие предметы хвататься, — услышал Васильев и ещё больше испугался. — А то ненароком руки себе поцарапаешь. Лечи потом. И ваще... Я тут по службе.

Васильеву немного оттянуло. Он снова сел за стол. Нож, правда, из рук не выпустил. В дверном проёме стоял небольшенький мужичок в ватнике и шапке-ушанке. И в такой шикарной бороде, что из бороды этой были видны только кончик носа да маленькие чёрные глазки.

— Ты меня не бойся зря, — сказал лохматый. — Я по службе зашёл. Присмотреть... Мало ли что?

— А вы кто? — спросил Васильев, всё ещё не выпуская нож.

— Я домовый здешний, — представился странный визитёр. — Меня Константином зовут. Всё ли в порядке нашли, Олег Петрович?

— Спасибо. Всё просто отлично, — выдал похвалу Васильев и пригласил лохматого садиться.

Тот, как был в шапке и ватнике, уселся за стол и по-хозяйски оглядел кухню.

— Это даже как-то неожиданно, — сказал Васильев, кладя нож в сторонку. — Я никогда не думал, что домоуправы будут проявлять такую заботу о жильцах.

— Я повторяю специально для тех, кто не расслышал, — терпеливо проурчал Константин, — я не домоуправ. Я домовый. Домоуправы — они за капремонты отвечают, за дворников всяких... канализация, опять же... А наше дело смотреть за имуществом и порядок наводить. Чтоб возвращенцы претензий не имели.

— Ну вот и очередной сумасшедший, — с горечью подумал Васильев. А вслух сказал:

— Что-то раньше я вас в этих краях не видел.

— А как ты мог меня видеть, когда я совсем маленький был? — спросил Константин и пригорюнился. — Не кормил никто. Хорошо, если крошки со стола подберёшь да у кошки молочка из блюдца перехватишь. Ой и кошка же у тебя, Петрович! Зверь, а не кошка! Раньше, наверное, тигром была.

— Да... — протянул Васильев задумчиво. — Кошка была что надо. Собак била. Жаль, что околела.

— Ну это горе небольшое, — заверил Константин. — Кошку я тебе верну. Только ты её прячь куда-нибудь, когда я буду приходить. Нет. Лучше я сам её прятать буду — так надёжней выйдет. И не церемонься со своим выканьем. Называй меня на ты. Домовых все на “ты” называют. Вот попробуй. Сам увидишь, что на ты звучит лучше.

Васильев попробовал:

— Ты мне, Константин, честно скажи... Вот ты говоришь — возвращенцы. А много уехавших назад вернулось?

— Возвращаются все, кто не сумел оторваться! — гордо доложил Константин. — Только каждому своё время.

— Да! О времени! — спохватился Васильев и протянул домовому свои часы. — Ты глянь. Может, починить можно.

Константин покрутил в лапах умерший аппарат и вздохнул:

— Не... В этом деле я тебе не помощник. Потому что у нас времени нет. — И, заметив испуганный васильевский взгляд, похвалился, — зато никто, никуда и никогда не опаздывает. И всё вовремя происходит. Вот, например, завтра Первомай. В самое время. Да! Вот тут тебе бумаги. Велено передать.

Константин вынул из-под ватника пластиковую папочку и положил её на стол перед Васильевым.

Васильев раскрыл папку. Там были машинописные тексты комментариев и приколотый скрепочкой красный пропуск на площадь. Всё как обычно.

— Петрович! — тихонько спросил Константин, — а что ты мне на праздник подаришь? По праздникам положено подарки получать...

— Что хочешь, то и подарю, — расщедрился Васильев. Уж очень был ему симпатичен этот домовый. — Ну так что ты хочешь?

— А пирожные можешь? — спросил Константин. — Пирожные — они деньги стоят.

— Могу, могу, — успокоил Васильев домового, — видишь сам — деньги пока есть.

— Деньги — их экономить надо, — нравоучительно сказал Константин. — Вот мы с женой экономим. В банку на чёрный день откладываем. Уже две банки наложили. Из-под кильки. Но если ты такой богатый, давай двадцать две копейки — я сбегаяю.

— А у тебя и жена есть? — удивился Васильев и раскрыл бумажник.

— А как же! — домовой даже привстал немного, чтобы в васильевский бумажник заглянуть. — У нас всё как у людей! Моя Марфа в девятой школе работает. Раньше домоводству учила, а теперь будет физике.

— Интересно... — протянул Васильев, выкладывая на стол три рублёвых бумажки. — Она у тебя и физику знает?

— А зачем ей знать? — искренне удивился Константин. — Она же учить будет. А в наших школах на всех уроках учат одному — как правильно Город любить.

Васильев улыбнулся:

— Вот тебе, Константин, трояк. Купи себе дюжину пирожных.

— Чёртову? — обрадовался Константин

— Чёртову, — подтвердил Васильев и поднялся. — Пойдём вместе. Мне надо чемоданы из камеры хранения забрать.

На вокзале под недреманным оком дежурного милиционера Васильев открыл дверцу своей ячейки и удивился — там стоял только один чемодан. Он постоял немного и махнул рукой милиционеру, который и без того с любопытством поглядывал на Васильева.

— Что случилось, гражданин? — козырнул милиционер.

— Да вот, чемодан один пропал, — объяснил Васильев. — Вчера ставил два чемодана. А сегодня открыл — стоит только один.

— Что у Вас было в пропавшем чемодане? — милиционер был строг и деловит.

— Вещи разные... подарки... сувениры... — стал вспоминать Васильев. — Я, собственно, из Америки приехал погостить...

— Всё ясно! — обрадовался страж порядка. — Никто у Вас ничего не воровал. Чемодан ваш сам собой исчез. Потому что нашему человеку и даром не нужны заграничные шмотки.

Милиционер ещё раз козырнул и пошёл в центр зала, а Васильев с уцелевшим чемоданом — домой.

Дома Васильева встретил домовой Константин. Бисквитные крошки запутались в его бороде, но домовой был счастлив.

— Тут я тебе оставил кусочек, — сказал он Васильеву, довольно икнув. — Смотри не съешь случайно. Я завтра приду и проверю.

И тут зазвонил телефон. Васильев поднял трубку и услышал позабытый уже голос Ники Воскресенской:

— Олег! Если ты забыл, что у меня сегодня сдача “Трёх сестёр”, то я тебя сожру. Вместе с ботинками. Только попробуй не прийти! И бутылку прихвати — потом посидим, как белые люди.

— Ты что, мать? — фальшиво удивился Васильев. — Как можно такое забыть? Конечно же, приду.

— В люди пойдёшь — переодеться не забудь, — напомнил Константин. — А то оделся, как ковбой буржуйский.

— На себя посмотри, — парировал Васильев. — Валенки зачем обул?

— Валенки — это национальная русская обувь, — надулся Константин. — Они, между прочим, для тепла придуманы. Ну я пошёл тогда, раз ты такой. Кошку не забудь покормить.

Константин ушёл — и тут же появилась и стала тереться о васильевские ноги кошка Милка. Васильев обрадовался так, что даже слеза навернулась. Он покрошил Милке колбаски, налил молока и двинулся в ванную. Горячей воды не было. Выбравшись, Васильев принял холодный душ. И это оказалось не так уж и страшно.

Порывшись в шкафу Васильев надел серый костюм, белую рубашку и красный в серую полоску галстук. Потом уложил в саквояж литровую бутылку смирновской водки, чудом оставшейся в чемодане, велел кошке Милке хорошо себя вести и пошёл в театр.

— Любите ли вы театр так, как люблю его я? — вопрошал неистовый Виссарион, обращаясь к читателям “Современника”. Не знаю, что ему ответили его читатели, но если бы он задал бы такой странный вопрос городам, то ответ был бы короток и ясен:

— А как же! — сказали бы столицы.

Ещё бы! Им по статусу положено. В них ведь не только Столы, называемые министерствами и ведомствами, расположены, но и сотни лиц бьются в уличном лабиринте, играя свои роли. На то и Столица, чтобы лица эти были покрыты слоем грима и казались бы красивей, значительней, богаче, удачливей, чем на самом деле. Москва, она ведь потому Москва, что людей без масок в ней просто нет. Они в ней не выживают.

Поэтому в Престольной и живут шестьдесят девять театров. А это пусть не намного, но всё же больше, чем в Париже. Санкт Петербург, находящийся в постоянной войне с Москвой за возвращение бывшего столичного статуса, напрягся и породил на один театр больше, чем в сопернице. Но в этой странной гонке всех уложил Нью-Йорк, который нагло называет сам себя Столицей мира. Тридцать восемь Бродвейских и двести иных театров сделали его недосыгаемым для соперников.

Это ж страшно подумать! Сорок тысяч человек в Нью-Йорке не только называют сами себя артистами, но и состоят в различных актёрских профсоюзах. А ведь могли бы пользу приносить.

Но это в столицах.

А маленькие города театры не любят. Потому что одно от них беспокойство. Мало ли что?.. И приходится органы всякие специальные создавать для соответствующего идеологического контроля.

И самое главное в этой нелюбви к театру — это то, что аппаратчики — лицедеи по натуре и по профессии — опасаются, что вдруг кто-то сумеет притвориться лучше, чем они.

Может быть, именно поэтому провинциальные города недолюбливают театр. И это странно, потому что театры обожают свои города и носят их имена с той же гордостью, с какой нелюбимая жена носит фамилию мужа. И не только театры, но и вся так называемая творческая интеллигенция, как столичная, так и провинциальная.

Художники переносят родные города на свои холсты, поэты пишут восторженные стихи, а композиторы не менее восторженную музыку. И иногда у них это даже получается. Феномен Арбата, который воспел Окуджава — это уже из области фантастики. Ну обычная маленькая московская улочка. Таких не только в столичных, но и в провинциальных городах пруд пруди. А вот смотри ты! Запел под гитару негромко пожилой, скромный человек — и страна подхватила: "... батяня, комбат! За нами Россия, Москва и Арбат..." А не будь Шагала, кто бы в мире, кроме географов, знал, что есть такой город — Витебск?

Да... Что уж говорить?..

Город, как положено, с подозрением относился ко всякой интеллигенции, не говоря уже о творческой, и театр не любил. Не любил, но терпел. Так терпит дама прыщик на интимном месте — и беспокойство, и выдавить больно.

Правда, Город несколько раз выдавливал свои театры за свои пределы. Но только, казалось, избавился, как созревающие девчонки тут же организовывали некое подобие театра и начинали разыгрывать душещипательные сценки для родителей и будущих женихов.

И вот, хорошо это или плохо — не знаю, — Город смирился. И завёл себе очередную труппу.

ГЛАВА 4

Васильев шёл на премьеру и вспоминал бунинские строки: "... я все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми... за одно то, как актер произносит слово "аромат" — "аромат!" — я готов задушить его!"

Васильев, идя по пыльному тротуару, и так и сяк поворачивал эту фразу и получал от этого несказанное удовольствие.

С таким вот хорошим настроением зашёл Васильев в книжный магазинчик, убедился, что новых книг не было и не будет, и только когда вышел, с ужасом вспомнил, что он тоже актёр, что на работе он уже восстановлен и что уже завтра ему нужно будет комментировать по радио первомайскую демонстрацию.

Васильев неожиданно так явно почувствовал запах грима, что его чуть было не стошнило.

Он постоял немного, вытер пот с лица и быстренько двинулся в сторону вокзала.

В вокзальной кассе у него потребовали командировочное удостоверение, объяснив, что без этого удостоверения продать билет не имеют права.

— Ладно, — решил Васильев. — Завтра на этой демонстрации отработаю, потом сразу же в машину и — прости-прощай!

Настроение немного поправилось, и Васильеву даже захотелось навестить товарищей по профессии. Тем более — премьера.

Васильев дошёл, наконец, до Городского театра, почитал афишу и, уже поднимаясь по гранитным ступенькам к колоннам возле театрального входа (ну какой же это театр без колоннады?), ощутил за спиной некоторую странность. Он обернулся. В небольшом скверике напротив театра стоял памятник. Васильев сразу же увидел себя мальчишкой там, в забытых напрочь пятидесятых, благоговейно проходящим мимо этого шедевра. На бетонной скамье сидел бетонный же Иосиф Виссарионович. В правой руке он сжимал трубку, а левой приобнимал за плечи Максима Горького в тубетейке. Причём ростом Горький едва доставал Вождю до плеча.

Васильев налюбовался вдоволь на произведение монументального искусства и вошёл в театр, в аромат волшебства, праздника и загадки. Уже дали второй звонок, и фойе опустело.

Мимо Васильева пронеслась было, стуча каблуками, костюмер Зоя Таранькина. Но, спохватившись, затормозила и подошла к Васильеву.

— Олег! Принёс? — деловито спросила она, выхватила у Васильева саквояж и проинформировала. — Банкет на пятом. Смотри не опоздай. — И убежала так быстро, что Васильев не успел заметить куда.

Васильев поднялся по лестнице на второй ярус и устроился в кресле возле входа.

Пошёл занавес, и открывшаяся декорация сорвала аплодисменты. На сцене на заднем плане за столиками и креслицами высилась ступенчатая пирамида, напоминающая храмовые сооружения ацтеков. Пирамиду венчала копия вокзальной надписи: “Город”. Второй аплодисмент взяла актриса, играющая Ирину, сказав вместо: “Уехать в Москву. Продать дом, покончить всё здесь и — в Москву...” — “Уехать в Город...” Но когда Ольга подтвердила: “Да! Скорее в Город”, аплодисменты перешли в овации. Зрители встали и начали скандировать:

— В Город, в Город!..

Васильев тихонько поднялся и на цыпочках прошёл в буфет. Буфет был пуст.

Только в уголке сидел главный режиссёр Города Игорь Николаевич Добежалов.

Васильев подсел к нему и поприветствовал. Игорь Николаевич молча налил стакан пива и пододвинул его к Васильеву.

— Вернулся? — равнодушно сказал Добежалов и отпил из стакана. — Ну что ж. Все возвращаются...

— Я на время, Игорь, — заверил Васильев. — Я тут на пару дней — и назад.

— Это уж вряд ли... — протянул Игорь Николаевич. — Все говорят, что на пару дней, а потом...

Васильев взял Добежалова за кисть правой руки и вслушался. Под пальцами билась тоненькая ниточка пульса.

— Ну что ты дуришь? — спросил Добежалов, — сам знаешь, что я помер.

И тут Васильев сразу вспомнил, что он не только был на похоронах Добежалова, но и что-то говорил на этих похоронах.

— Ты не пугайся, Олег, — успокоил Игорь Николаевич Васильева, — я сам не понимаю, как это... И никто не понимает. Вернее сказать — не задумывается. Вот и ты не думай. Что есть, то есть.

Васильев выпил жидкого пива. Помолчал. Потом решил перевести разговор на другое:

— Ну и как тебе спектакль, Николаевич?

Добежалов тоже попил пивка и резюмировал:

— Сам не видел? Но говно полное. Завтра в газете будут рецензии о гениальных режиссёрских находках, о новом прочтении Чехова и прочая муть. Машка Коврижная уже написала. И сам Канарейкин обещал. Так что всё в порядке. Ника от радости так и парит. Но это же Ника. Крылья есть, а головы нет. Ты матроса у меня сыграешь?

— Какого матроса? — Васильев поперхнулся пивом, но быстро пришёл в себя. — Может, и сыграю. Нет! Что это я? Я же завтра... Словом, вряд ли.

Добежалов поморщился:

— Матроса, Олег, революционного матроса сыграть — это большая честь. Приказано, вернее, рекомендовано, поставить “Шторм” Биль-Белоцерковского. К Седьмому Ноября. А хорошего матроса, фактурного такого... у меня нет. Ладно... Я не обижусь. Только пустое ты, Олег, затеял. Не уехать тебе.

— Это почему? — обиделся Васильев.

— А потому что Город не снаружи. Город — он внутри. Ладно... Пошли покурим.

И они вышли из театра в вечер и тусклые фонари. И возвратились уже в антракт. В фойе степенно прогуливались завсегдатаи театральные премьер: партхозактив, ответственные и полуответственные работники, которые вывели своих дам людей посмотреть себя показать, несколько преподавателей музучилища и местного пединститута, отставные военные и просто родственники и друзья артистов. К Васильеву подошла коллега по бюро оркестров Елена Михайловна.

— Олег! — сказала она томным меццо-сопрано, — ты не забыл, что в субботу юбилей смерти Пушкина? Сто сорок четвёртая годовщина. Мы должны, мы просто обязаны устроить праздник, достойный памяти великого Поэта.

— Станный это обычай — праздновать день смерти... — протянул Васильев сквозь зубы. Кстати. Пушкин ведь в январе умер, а сейчас лето. И какой же это юбилей? Юбилей должен на цифру пять или десять заканчиваться.

— Не нашего это ума дело, — парировала Елена Михайловна. — Уже привлечена масса народу. Ты читаешь “Пророка”.

— Хорошо, — неожиданно для себя согласился Васильев и направился в буфет. Народ не торопился в зал, несмотря на настойчивый третий звонок.

Допивали, доедали и делились впечатлениями. И судя по отрывочным фразам, донесшимся до Васильева, публика была в восторге. За столиком в центре устроился Первый секретарь Михаил Мефодиевич.

Сами Михаил Мефодиевич с супругой сидели за столиком, а сопровождающие лица из “аппарата” стояли вокруг, с восторгом глядя, как Первый дожёвывает бутерброд. Васильев хотел было пройти мимо незамеченным, но это ему не удалось.

— Олег Петрович! — властно остановил Васильева Первый. — Что не подойдёшь, не поздороваяешься? Зазнался, что ли? Это не к лицу нашему человеку.

— Да как-то неудобно было беспокоить, — попытался оправдаться Васильев.

— Неудобно штаны через голову одевать, — пошутил Михаил Мефодиевич, вызвав дружный, но негромкий смех “аппарата”. Васильев подошёл поближе и пожал пухлую руку. А Михаил Мефодиевич продолжал:

— Это хорошо, что вернулся. На следующем партхозактиве сделаешь краткое сообщение о гримасах гнивающего империализма. Вот тут недавно Маркин приехал из Израиля, — Михаил Мефодиевич обвёл глазами свою свиту, и все дружно закивали головами, подтвердив тем самым приезд Маркина. — Так он такого порассказал о зверином оскале международных сионистов — страшно слушать было.

Первый помолчал немного, чтобы произнесённое лучше запечатлелось, и спросил:

— Ну и как тебе спектакль?

— Замечательно! — ответил Васильев.

— То-то! — Первый, похоже, был доволен. — И, что главное, ни одного приглашённого летуна. Все свои. Вырастили, так сказать... воспитали... А Воскресенскую будем поднимать. Местный кадр, так сказать, и вот — добилась.

Михаил Мефодиевич расправился с бутербродом и поднялся. И вместе со свитой двинулся в зал. Буфет тут же опустел. Только за столиком Добежанского эффектно жестикулировал Владлен Щепотько — неоспоримо гениальный актёр и режиссёр. Васильев взял бутылку пива, тоже присел за столик и попытался врубиться в разговор. Оказалось, что Владлен Гаврилович горячо и страстно приглашал Добежанского на вечер, посвящённый рождению стотысячного горожанина. Сценарий вечера писал сам Щепотько. Он же был режиссёром-постановщиком этого мероприятия. И, разумеется, ведущим вечера.

— Владлен Гаврилович, — осторожно спросил Васильев, — а как вы предугадали рождение этого стотысячного? Это ведь дело такое... Тонкое.

— Ничего сложного, Олег Петрович! — Щепотько довольно улыбнулся, — ничего сложного. Простая арифметика. Каждый день в Городе рождается пять младенцев. Остаётся только подсчитать. И всё.

— А вдруг родится не пять, а три? — усомнился Васильев.

Владлен Гаврилович улыбнулся ещё раз:

— А вот этого, уважаемый Олег Петрович, не может быть, потому что быть не может. В нашем роддоме каждый день пять пар счастливых родителей получают своего младенца. Годами, — вы вдумайтесь только! — годами в очереди стоят. Справки и рекомендации представляют. И вот наконец-то получают долгожданное чадо на целую неделю.

— А потом? — не понял Васильев.

— А потом сдают ребёнка обратно. Медики проверяют соответствующим образом новорожденного, и если всё в порядке, передают следующим родителям. Так что ничего незапланированного просто не может произойти.

Васильев заглянул в глаза Щепотько, и ему стало страшно. Однако он взял себя в руки:

— Ах вот как? — протянул он, — я совершенно с вами согласен, Владлен Гаврилович. Это разумно. И, наверное, много чего-то экономит.

Васильев стал пить пиво. А Щепотько всё никак не мог остановиться:

— Вы, Олег, конечно же, будете принимать участие в юбилейном Пушкинском вечере. Я не сомневаюсь. Вот вы специально послушайте, как я буду читать “Бесов”. Нет! Вы специально выйдите в зал и послушайте.

Щепотько сделал глубокую наполненную паузу и продолжил:

— Вы же знаете Юрского? Он же гений!

— Гений, — согласился Васильев.

— Так вот. Я буду читать “Бесов” в его стиле.

Владлен Гаврилович ещё много бы чего наговорил, но из зала понеслись аплодисменты.

— Пора, — сказал Добежалов и поднялся.

Поднялся и Васильев, и они пошли вниз, а потом за кулисы поздравлять актёров.

Щепотько пошёл с ними. Время от времени забегая вперёд, он разворачивался и давал оценку спектаклю. Краткую, но сочную:

— Смело! Что уж тут скажешь? Смело — да и всё. Я, Игорь Николаевич, понимаю, что настоящий интеллигент должен находиться в постоянной конфронтации с властью. Я и сам как русский гуманитарий всё время против. Но Ника, по-моему, немного перегнула палку. Это слишком смело!

— Что — смело? — лениво спросил Добежалов.

— Я пока ещё и сам не знаю... — замялся Щепотько, — я не сформулировал ещё...

Оно должно отстояться, сами понимаете... Но свой вывод я сделал. Кстати говоря, Вы обратили внимание, как хорош сегодня был Кондратьев в роли Тузенбаха?

Раскованный, предельно органичный...

— Вы идите, Владлен Гаврилович, мы догоним, — Добежалов повернул в сторону туалета. — Пиво, понимаете ли...

— А вот Михаил Мефодиевич в восторге, — как бы между прочим проговорил Васильев. — Так и сказал: “ Будем поднимать Воскресенскую...”

Щепотько начал меняться в лице: сначала побледнел, потом покраснел. Какого цвета

стало его лицо в финале этих перемен, Васильев уже не видел, потому что вслед за Добежаловым вошёл в мужской туалет. Отводя душу, Васильев спросил:

— А что, Кондратьев действительно?..

— Конечно, — подтвердил Игорь Николаевич, полоща руки под струёй воды, — пьяный в хлам ваш Кондратьев. Перед спектаклем едва нашли. Весь театр облазили — пропал человек. Потом электрик обнаружил на колосниках под самой крышей спящим. Как не свалился, одному Богу известно. Сволокли его вниз, отпоили нашатырём... Поэтому и раскованный.

Когда Васильев вышел, Щепотько уже стоял у служебного входа с лицом нормального цвета. Только столько недоумения и обиды было в этом лице да и во всей фигуре Владлена Гавриловича, что был он похож на ребёнка, которому вместо конфеты дали пустой фантик. Щепотько уже открыл рот, чтобы выразить очередную точку зрения, но тут дверь распахнулась и из служебных помещений вышел сам Михаил Мефодиевич и сопровождающие его лица. Они в очередь пожали Добежалову с Васильевым руки и строем удалились. Последней выпорхнула из дверей заведующей культурой Марта Яновна Бородкина, подарила своё энергичное рукопожатие и побежала догонять своих. — Вы видели? — трагически спросил Щепотько. — Нет! Вы видели, как я страдаю за убеждения? Мне никто не подал руки.

— Владлен Гаврилович! — Васильев попытался успокоить безутешного Щепотько. — Вы просто стояли в стороне. Вот, второпях, Вас и обошли.

— Нет, нет! Это интриги! — голос Щепотько трагически дрогнул. — Я недавно на концерте стихотворение Солоухина про кактус прочитал. В самом стихотворении ничего такого... Но вы же представляете, как я его прочитал? И вот, пожалуйста. Уже донесли.

— Владлен Гаврилович! — посочувствовал Добежалов. — Я бы на Вашем месте пошёл бы и напился. Но зная, что Вы не пьёте водку, ничего посоветовать не могу, — и открыл дверь в таинственный полумрак сцены.

А на сцене ликовала труппа. Обнимались и целовались недавние недруги и друзья. Бывшие, настоящие и будущие любовники и супруги. Таланты, признанные и не очень, лобызались с бездарями и одухотворённые творцы поздравляли приземлённых ремесленников. И поверх всего, ниспровергая все законы физики, парила Ника Воскресенская с огромным букетом роз в руках. И неизвестно, как долго длилось бы это всенародное ликование, но в софите пушечным выстрелом лопнула лампа. Тут же народ пришёл в себя и начал расходиться. Ника плавно приземлилась возле Васильева, чмокнула его в щёку и сказала:

— Иди на пятый. А я Кондратьева убью, суку, и сразу приду.

— За что же ты его так? — удивился Васильев. — Вот даже Владлен Гаврилович его хвалил. Раскованный, дескать...

— Раскованный? — переспросила Ника и рассмеялась специальным смехом. — Эта сволочь пьяная перепутала спектакли. Мы играем “Трёх сестёр”, а он “Парня из нашего города”. Это просто дурдом какой-то! Хорошо ещё, что наш зритель пьес не читает. Я — дура и ничего не понимаю, Олег! Ничего! Когда эта сволочь вышла в полевой форме сорок первого года и с автоматом в руках, никто и не удивился даже. Никто. Ты въезжаешь? Я — нет. А когда этот мудака взмахнул автоматом и заорал: “За Родину, за Сталина!”, зал в восторге встал.

Ника постояла немного, подумала, а потом швырнула розы на пол:

— Нет! Держите меня четверо! Я этого гада в клочья разорву! — И тут же, сменив тон, деловито предложила: — Ну что мы тут стоим, как придурки? Пошли. А то выжрут всё без нас.

И они дружно поднялись по винтовой лестнице под самую крышу. Туда, где располагались репетиционный зал с небольшой сценой и несколько комнат, назначение которых постоянно менялось. В одной из таких комнат, стены которой были сплошь покрыты старыми афишами, уже был накрыт стол, суетилась, раздавая направо и налево приказы и матюги, Зоя Таранькина. Участники застолья сидели по принципу “в тесноте, да не в обиде”. И только в углу возле окна спали, прислонившись

друг к другу, Хрупак и Кондратьев.

— Не бери в голову! — крикнула Зойка Васильеву, раскидывая по столу тарелки, — это они твою водку импортную скоммуниздили и выжрали в туалете. Ничего. Эти очнутся. У них квалификация высокая.

И точно! Тут же Хрупак приподнял голову сказал:

— А закусить? — и начал устраиваться за столом.

А за столом уже было налито. И Добежалов, приподнявшись, сказал короткий тост за искусство и за всех присутствующих. Выпили. Начали закусывать. Васильев жевал солёный огурчик и удивлённо рассматривал наклейку на водочной бутылке. На знакомой зеленоватой этикетке красовалась надпись: “Городская особая”. Но он не успел налюбоваться, потому что Хрупак заорал:

— Между первой и второй — перерывчик небольшой!

Тогда Ника предложила тост за дружбу. А потом непьющий Щепотько выдал тост за русскую интеллигенцию, которая претерпевает невероятные гонения. Потом искусствовед Мария Коврижная предложила выпить за гений Воскресенской. Она говорила долго, причём каждое третье слово у неё было “гениально”. Она собралась было произнести в гении всех присутствующих, но неожиданно устала и закусила килечкой.

Потом Зоя Таранькина внесла дымящуюся кастрюлю с картошкой и со словами:

— Жрите, тунеядцы! — поставила эту кастрюлю в центр стола.

И “тунеядцы” прокричали “Ура!” и не стали церемониться. Картошка исчезла так же мгновенно, как исчезает кролик в шляпе фокусника.

После этого начали потихоньку подниматься и выходить в коридорчик покурить.

Васильев тоже вышел. Курильщики уже разбились на небольшие группки, и в каждой обсуждалось нечто очень важное. И только молодящийся плейбой Светлан Косяков ходил от группы к группе и читал стишок о городских памятниках. Он делал это с неизменным успехом уже лет пятнадцать.

— А потом будут соревноваться, кто кого быстрее заложит, — сказал негромко

Добежалов, тоже вышедший на перекур. — Такие вот олимпийские игры...

Васильев сначала с недоверием посмотрел на Добежалова, а потом подумал, согласился и вернулся обратно к застолью. А там уже бушевало веселье. Витя Хрупак, похоже, отошёл от выпитого и пел под гитару Высоцкого, и все подпевали, как могли. И только две молодые актриски, уставившись друг другу в глаза, шипели по-змеиному и выясняли, кто же из них интриганка и режиссёрская подстилка.

Васильев присел, выпил рюмочку, и так ему стало хорошо и уютно, что не передать.

Тогда Васильев отобрал у Хрупака гитару и спел несколько оруджавских песенок. И все дружно подпели. И так хорошо получилось, так слаженно, что Васильев даже не удивился, что, подпевая, друзья по застолью упорно заменяли слово Арбат словом Город.

Васильев удивился только когда поднялся Кондратьев, задумчиво ощупал на себе военную форму и, подойдя к зеркалу, изрёк:

— Ну вот и началось. Я так и знал. Но с вами, гниды, — обратился он неизвестно к кому, — я в разведку не пойду.

После такой речи Кондратьев попросил рюмочку для реанимации организма и вышел покурить.

— Интересно, что это он там увидел? — подумал Васильев и, воспарив, пролетел над головами сидящих прямо к зеркалу. И вот, когда Васильев посмотрел в мутноватое стекло, когда увидел свои остановившиеся, абсолютно мёртвые глаза, тогда ему стало страшно. Васильев глянул на Добежалова, ища поддержки. Но тот и лицом, и всей фигурой показал, что ничем помочь не может, что, дескать, у всех так оно начиналось. Тогда Васильев довольно жёстко приземлился и, конечно же, не удержался бы на ногах, если бы не дружеская поддержка.

— Спасибо, братцы! — сказал Васильев и побежал в туалет. Там он, кое-как выблевав выпитое и съеденное, умылся холодной водой, и ему стало лучше. А как только стало лучше, он вернулся в застолье, где Хрупак уже наяривал “Цыганочку”. Главный

художник Янка Дукст, натянув на голову парик и нацепив несколько цветастых юбок, уже плясал, поводя плечами и потряхивая поролоновым бюстом. Все ждали выхода Зои Таранькиной. “Цыганочка” была её коронный номер. И начинала она её неизменным кувырком через голову.

Но у Васильева было так тошно на душе, что он не стал дожидаться, пока Зоя переоденется, заявил, что болен, и ушёл. На лестнице Васильев столкнулся с Ваней Кучерявым и его супругой Татьяной Крайней. Кучерявый только что был назначен главным редактором газеты “Красное знамя” и считал, что ему как начальнику положено задерживаться.

Васильев поприветствовал супругов. Он прекрасно знал, что Ваня быстро напьётся и будет петь комсомольские песни, а Крайняя сядет в сторонке и моментально заснёт, положив пухленькие ручки на колени.

Васильев шёл домой, не видя ничего вокруг — только зеркальное отражение собственных мёртво-оловянных глаз.

— А может быть, это всё-таки сумасшествие, — утешал себя Васильев так горячо, что уже начал в это сумасшествие верить.

Дома ждал его очередной сюрприз. За кухонным столом сидели домовая Константин и кошка Милка. Они играли в карты.

— Олег Петрович! — обрадовался Константин, увидев Васильева, — ты скажи своей кошке. Она передёргивает... Так ты скажи ей!

— Очко! — сказала Милка, перевернув карты, — шапку снимай, нечистик.

И тут же исчезла. Константин извиняющимся тоном объяснил:

А что мне оставалось? Пришлось вашу кошечку убрать. Не могу же я без шапки ходить. Мне без шапки должность не позволяет.

Васильев сел напротив Константина и закурил. На душе было противно-препротивно.

— Крысы! — сказал Васильев Константину. — Они все, как крысы в бочке, жрут друг друга.

— Ну ты это кончай... — не согласился Константин, — это клевета, короче. Крысы — древнейшая цивилизация. Древнее только тараканы.

— Ага. — Васильев стал иронизировать, — у тебя и крысы цивилизация, и тараканы... Только люди не цивилизация.

— Молоды ещё, — грустит Константин, — жизни ещё не видали... — Константин спохватился, — я, Петрович, вот сейчас тебе живой пример приведу. Свояк рассказывал. Он в ихнем доме жил. Говорил, что сам видел. И Константин начал излагать, заикаясь, сплёвывая на бок и жестикулируя. Но поскольку его рассказ на две трети состоял из ненормативных слов, выражений и прочего мата, то выкладывать его на бумагу я не буду. Совесть надо иметь. Одно дело матюгнуться пару раз по делу, другое... Словом, не буду — да и всё.

Когда Константин закончил свой рассказ, Васильев уже спал, уронив голову на стол. Константин потоптался вокруг, потом принёс подушку и подсунул её Васильеву под голову.

— Напьются, как свиньи, — ворчал Константин, — а потом туда же... Цивилизация...

ГЛАВА 5

А с утра наступил День международной солидарности трудящихся Первое мая!

— Вставай, Петрович! — Константин держал в левой лапе сковородку, а в правой деревянную ложку. И так самозабвенно колотил этой ложкой по сковороде, что напоминал камлающего шамана.

— Чего надо? — спросил Васильев, взял подушку и пошёл на диван.

— Ты чё, забыл, что ли? — удивился Константин. — Первомай сегодня. Весны, так сказать, и труда. И ты на нём работаешь.

Васильев вспомнил, что он действительно должен сегодня быть на демонстрации. Он поднялся, сварил кофе покрепче и закурил.

— Пива хочешь? — издевательски спросил Константин и, увидев, что Васильев согласно кивнул головой, добавил, — а я не дам. Потому что нету.

Васильев молча курил.

— Денег давай! — Константин был серьёзен. — Давай тринадцать семьдесят пять — я праздничный набор принесу. А ты, пока я бегаю, кошку покорми. Она хоть и жульническая кошка, но кушать тоже хочет.

Васильев молча вынул из бумажника пятнадцать рублей. Положил их на стол.

— Тут сдача выйдет, — озабочился Константин, — сдачу куда денем?

— Пирожных купи себе, — мрачно посоветовал Васильев. У него всё не проходил вчерашний холодок ужаса в животе, когда он увидел в зеркале свои глаза.

Васильев накормил появившуюся Милку, постоял под холодным душем и побрился. А когда оделся, за окном уже ревела в репродукторах “Москва майская”.

Васильев хотел было закрыть окно, но диктор в это время понёс такое, что Васильев решил дослушать до конца.

По многочисленным просьбам трудящихся сегодня в Москве в Кремлевском дворце съездов в очередной раз начинается работу XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сегодняшний съезд создаст ещё более праздничное настроение у нашего народа.

“Ум, честь и совесть нашей эпохи”, так назвал Владимир Ильич Ленин созданную им партию коммунистов. Вся наша действительность свидетельствует, что Коммунистическая партия достойно выполняет роль политического вождя рабочего класса и всех трудящихся. Вооруженная марксистско-ленинским учением, обладая силой научного предвидения, партия руководит великой созидательной силой строительства.

<...> Поэтому наш народ безгранично доверяет партии, всецело поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику, поэтому неколебим в народных массах авторитет партии как революционного авангарда, уверенно ведущего страну ленинским курсом к коммунизму. В единстве партии и народа неодолимая сила советского общества.

Политбюро Центрального Комитета заявило сегодня, что готово повторять Съезд ежемесячно...

После этого духовой оркестр заиграл “Прощание славянки” и в кухне появился Константин с двумя пакетами в лапах.

— Задержался малость, — проворчал Константин и поставил пакеты на стол, — очередь собралась — не протолкнуться. Хорошо, что знакомый из восьмидесят шестого дома стоял. Я к нему и притёрся. А то бы стоять мне до Нового года.

Васильев развернул пакет побольше. Там была трёхсотграммовая бутылочка Рижского бальзама, банка шпрот, банка сайры, банка болгарских маринованных огурцов, кружок колбасы и пачка гречневой крупы. Словом, всё что надо для того, чтобы достойно встретить праздник.

Васильев пододвинул гречку к Константину:

— Бери, если хочешь.

— Возьму, — согласился тот, — как не взять, если дают?

Он моментально спрятал пакет в недрах ватника и посоветовал Васильеву:

— Ты давай, на работу иди. А мы тут с твоей кошкой в картишки пока перекинемся.

Тут же в кухне появилась Милка, перекусила и спросила деловито:

— На что играем, Лохматый?

— А на пирожные? — предложил Константин.

— Не... — Милка недовольно покрутила головой, — я пирожных не ем, — потом подумала и выдала свой вариант, — давай на щелбаны.

— А чем же ты щёлкать будешь? — удивился Константин.

— Хвостом, — ответила кошка и прыгнула на стул.

Васильев не стал ждать, чем закончится эта странная торговля, взял папку с текстами и вышел.

А на улице в репродукторах громыхали оркестры. Васильев сунулся было на

центральную улицу, но сразу понял, что ему не протолкаться сквозь толпу — массы трудящихся уже стеклись ручейками в людскую реку и ждали только команды, чтобы пройти мимо праздничной трибуны, демонстрируя своё единство с мировым пролетариатом.

Тогда Васильев решил проходными дворами выйти на параллельную улицу и уже по ней добраться до гостиницы, где был оборудован временный корпункт местного радио. Васильев свернул было в подворотню, но его остановил милиционер в парадной форме.

— Почему на Вашем лице, гражданин, не видно признаков радости и восторга? — спросил милиционер, взяв под козырёк.

— Да так как-то всё... — промямлил Васильев. Ему было неудобно признаваться, что он не понял вопроса.

— Если выражение дома забыли — это ничего. С каждым может случиться, — проявил заботу постовой, — у нас на этот случай даже инструкция есть. Вот. Берите и надевайте! —скомандовал заботливый милиционер, достав из полевой сумки бумажную маску на резиночке.

— Спасибо, — поблагодарил Васильев и взял маску. Всё было предельно просто. На листке в клеточку из школьной тетради фломастером была нарисована улыбка до ушей. Для того чтобы эта маска держалась, к листку была прикреплена резиночка.

— Товарищ милиционер! А дырочки для глаз где же? — спросил Васильев, рассматривая шедевр карнавального искусства. — Я же не увижу, куда идти.

— А идти нужно туда, куда укажут! — засмеялся милиционер, — тем более если сплочёнными рядами...

Тогда Васильев догадался и показал сержанту пропуск на трибуну.

— Ну так бы и сказали сразу, гражданин! — обиделся милиционер, — а то все мозги затрахал.

Васильев прошёл в дальний конец двора. У дровяных сараев кучковались догадливые мужики — поправляли здоровье прямо из горлышка. Маски с выражением радости и восторга были у них подняты на головы и напоминали козырьки кепок.

Васильев вывернул в узкий проход между домами и вышел на улицу Гоголя.

Когда Васильев был в квартале от площади, его снова остановили и спросили пропуск. Васильев пропуск предъявил и удивился тому, как серьёзно была перекрыта улица — два автобуса стояли поперек, и из-за них выглядывало мурло бронетранспортёра.

Васильев хотел было спросить, к чему такая баррикада, но не успел, потому что над головами на бреющем полёте пронеслась стая голубей. В клювах каждый держал листок бумаги. Над площадью стая рванула вверх, и запорхала метель листовок.

Васильев подобрал одну. На ней было напечатано:

“Трудящиеся Города! Ознаменуем очередную пятилетку ударным инициативным трудом на благо Родины! Решения XXVI съезда КПСС — выполним! Все для блага человека, все во имя человека!”

Васильев сложил листовку, сунул её в карман и заторопился в гостиницу.

Там уже было всё “на мази”. В фойе стоял длинный стол, на котором были установлены микрофоны. В центре стола красовалась красная лампа. Васильев отлично знал, что лампа эта загоралась тогда, когда с трибуны провозглашался очередной призыв Центрального Комитета к трудящимся. В это время диктор, ведущий репортаж, умолкал и вступал лишь тогда, когда лампа гасла.

У стола уже сидели постоянные дикторы — Добежалов, Ника, Косяков и странное существо по имени Иродиада Петровна Шмяк. На Иродиаде Петровне, как всегда, было навешено невероятное количество бижутерии: Иродиада Петровна считала, что творческий человек обязательно должен выделяться из серой толпы. Вокруг стола уже порхали барышни из идеологического отдела.

Васильев поздоровался с коллективом, положил свою папочку на место и вышел перекурить. У входа в гостиницу уже стояли тремя кучками духовики — два городских оркестра и один военный. К Васильеву подошёл тромбонист Яша Коган.

— Слушайте, Олег! — начал Коган озабоченно, — я вот тут всё думаю, думаю...

Может, вы знаете ответ?

— Это смотря какой вопрос, — улыбнулся Васильев.

— А вопрос простой, — обрадовался Яша тому, что нашёл слушателя, — очень простой вопрос. Я вот всю жизнь играю марши. И только сегодня сообразил, что все наши марши минорные. Вы понимаете, Олег? Все. Кроме “Солдатушки, браво, ребятушки!”

— Ну и что? — равнодушно спросил Васильев.

— Как что? — Коган начал было горячиться, а потом неожиданно остыл и махнул рукой — хорошо, хорошо! Я уже забыл об этом, раз это никому не надо.

Васильев вернулся в холл как раз вовремя. Шустрые товарищи в штатском уже перекрыли лифт и лестничный марш, и из коридорной глубины появилось руководство. Михаил Мефодиевич, а вслед за ним и вся группа товарищей, подойдя к дикторам, лично поздравили с праздником. Михаил Мефодиевич при этом распорядился, чтобы в чай дикторам налили побольше коньячку для куражу.

Рявкнули оркестры на улице, и Косяков бодро и уверенно начал:

— Внимание, внимание! Говорит Город! Через несколько минут на площади имени Владимира Ильича Ленина начнётся парад Городского гарнизона и праздничная демонстрация трудящихся Города и района, посвящённая Международному дню солидарности Первое мая!

После этого микрофоны отключили, и можно было на время парада расслабиться. К Добежалову подошла горкомовская дама:

— Игорь Николаевич! Поступило указание. Сегодня первой по площади пройдёт колонна ветеранов войны и труда. Вот текст, — она положила перед Добежаловым листок бумаги, — постарайтесь быть предельно внимательным. Это так важно.

— Хорошо, — согласился Добежалов, — буду предельно.

Помолчали. Собственно, говорить-то было не о чем. Попробовали чай с горкомовским коньяком. Коньячок был что надо. Потому что после второго глотка Иродиада Шмяк начала интеллектуальную беседу:

— Женщины тоже разные бывают, — в глазах Иродиады стояла неутолимая тоска по настоящему мужчине. — Вот я вчера была у своего гинеколога. Вы не поверите, но он мне прямо сказал, что у меня очень узкое влагалище...

После такого заявления Иродиада Петровна обвела присутствующих взглядом, ища сомневающихся. Но сомневающихся не было. Всем было наплевать на особые женские достоинства Шмяк. Она, может быть, ещё что-нибудь придумала бы, но горкомовские девочки замахали крылами, и звукооператор сказал:

— Врубаю.

Добежалов выдержал небольшую паузу и начал:

— Первомайскую колонну жителей города и района возглавляет группа ветеранов войны и труда. В первых рядах идёт член Коммунистической партии с 1916 года, участник Гражданской войны, латышский стрелок, человек лично охранявший Владимира Ильича Ленина...

В это время на столе вспыхнула красная лампа.

Добежалов переждал, пока с трибуны провозгласили очередной Призыв и начал своими словами:

— Во главе колонны ветеранов идёт член Коммунистической партии с 1916 года, участник Гражданской войны...

Загорелась красная лампа и с трибуны понеслось:

— Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперёд к победе коммунизма! Ура, товарищи!

Добежалов только пожевал губами, но начал сначала:

— На площадь, возглавляя колонну ветеранов войны и труда, вышел член Коммунистической партии...

Снова красная лампа не дала Добежалову закончить предложение:

— Работники государственного аппарата! Совершенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам и заботам советских людей!

Добежалов сделал паузу намного больше, чем было нужно, и сказал:

— Член уже вышел на площадь!

После этого Игорь Николаевич поднялся и, сказав:

— А ну вас всех на хер! — тоже вышел на площадь.

Горкомовские девочки ничуть не удивились. Моментально поделили тексты Добежалова между дикторами и — “машина” заработала. Васильев бодренько читал свои тексты о том, какими трудовыми подарками встречает Первомай выходящий на площадь очередной трудовой коллектив и думал:

— Вот бы мне, как Добежалову, встать бы сейчас и послать всех. А я не могу. Не могу — и всё. И, кажется, бояться мне нечего? И понимаю я весь маразм происходящего... А встать и уйти... Не-е-ет! Что-то тут не так. Это на массовый психоз похоже.

Васильев так углубился в себя, пытаясь понять, почему он не в состоянии прервать эту клоунаду, что и не заметил, как закончилась демонстрация. Автоматически он отметил, что Иродиада, говоря о колонне железнодорожников, вместо “подъездных” путей сказала “подъебные”, и очнулся только тогда, когда Ника потрясла его за плечо:

— Ты что? Уснул? Я тебе уже четвёртый раз говорю, что вечером собираемся у меня.

Посидим как люди ради праздничка.

— Да, да! Конечно! Я обязательно... — бормотал Васильев, а сам думал о том, что вот и с привычной компашкой расстаться он не в силах. Ведь и друзей-то настоящих в этой компашке не было, нет и вряд ли будут. А вот — на тебе! Тянет, как магнитом.

Васильев вышел на улицу и закурил. Он чувствовал себя смертельно уставшим. Вот так бы и лёг прямо на газон, на котором торчала на палке яркая табличка: “Здесь ходит только слон!”

По площади уже катили уборочные машины, сметая ненужные маски с радостными улыбками, гигантские гвоздики из гофрированной бумаги и шкурки воздушных шариков. Возле магазина на углу вытянулась вдоль стены змея очереди. Васильев подошёл поближе. Спросил, что дают.

— Говорят, что сметану выбросили, — угрюмо ответила женщина с красным бантом на куртке. — Но на всех не хватит.

— Значит, не повезло, — улыбнулся Васильев и тут же спросил, — а это что?

На площадь въехал трейлер с огромной ёлкой.

— Вы, гражданин, больной, что ли? — окрысилась дама. — Завтра Новый год. Вот ёлку и ставят.

— Ага, — согласился Васильев. И сам не понял, с чем согласился. С тем, что больной, или с тем, что завтра Новый год.

Васильев смотрел на насупленные лица, на эту ёлку, которую уже начали краном снимать с трейлера, на суетливую женщину в брюках, наводящую порядок в очереди, и думал:

— Это чем же я недоволен? Тем, что измученные бытом люди не думают о свободе слова и прочей дребедени? Интересно, о чём бы я думал, выстояв вот такую очередину?

И тут Васильев вдруг понял, что если он не уедет сегодня, то он не уедет уже никогда.

— А Вам что нужно, мужчина? — спросила подоспевшая общественница.

Васильев обернулся и узнал в этой шустрой свою одноклассницу Таньку.

— А ничего мне не нужно, Таня, — сказал он негромко, — так... Подошёл узнать, что дают.

— Господи! Олег! Сто лет тебя не видела! — как будто обрадовалась Танька. — А я-то думала, что халявщик к очереди притирается. Сметану обещали. Тебя записать? Только смотри — на всех не хватит.

— Нет, Таня, — Васильеву всё больше и больше грустилось, — нет. Я просто так.

И Васильев медленно пошёл домой.

В кухне сидел Константин и перебирал карточную колоду. Из-под шапки у него выбивался белым чубчиком бинт.

— Вот я не пойму никак, Петрович, — спросил он обиженно, — почему твоя подлая

кошка всё время выигрывает? Жульническая кошка — это ясно. А где жулит — не пойму.

— А со лбом что? — спросил Васильев.

— Мы договаривались как? На щелбаны договаривались, — начал жаловаться Константин. — Эта подлая кошка говорила, что хвостом бить будет. А когда до дела дошло, то привязала к хвосту ложку. И откуда ты такую заразу в дом привёл?

— Ладно, брат, не обижайся, — утешил Васильев домового, — вот тебе на пирожные для поправки здоровья.

И Васильев выдал нечистику трояк.

— А вот за это тебе спасибо! — засобирился Константин. — Это да... Конечно!.. От этого всё заживёт!

И домовой хлопнул дверью.

Васильев посидел немного, переоделся, проверил, на месте ли ключи от гаража, и тоже вышел.

До гаража Васильеву надо было ехать автобусом. Салон был битком набит подвыпившим ради праздничка народом. Воняло перегаром и потом. Васильев что было сил держался за поручень правой рукой и всё силился высвободить левую, зажатую между двумя неопрятными мужиками. Васильев старался до тех пор, пока один из мужиков не обернулся:

— Ну что ты дрочишься, интеллигент? — спросил обернувшийся, — может, тебе по очкам длызнуть?

— Я... понимаете... — почему-то засмутился Васильев. — Очки я, между прочим, не ношу.

— Счас будешь, — пообещал мужик. — И протезы носить будешь, потому что я тебе ноги из жопы вырву.

После таких обещаний мужик стал орать на весь автобус:

— Поразвели паразитов! Если ты сильно образованный, так ехай в такси, а не с народом толкайся!

В самом деле, почему ж это я такси не взял, дурак? — отругал себя Васильев мысленно. Но тут автобус остановился у рабочего посёлка и толпа выдавила Васильева наружу. Васильев постоял немного, подумал и решил пройти пешком оставшиеся две остановки.

— Нет! — думал Васильев, идя по обочине, заросшей пыльной лебедой и полынью, — драть отсюда и как можно быстрее! А ностальгию как-нибудь переживу. Вот прямо сейчас — в машину и... горячий привет вашей бабушке.

Васильев как раз проходил мимо административного корпуса завода железобетонных конструкций. На здании, закрывая окна, висел плакат. На нём вождь мирового пролетариата, зажав кепку правой рукой, левой указывал Васильеву дорогу. Надпись на плакате гласила: "Неверной дорогой идёшь, товарищ!" Васильев остановился на перекур и задумался — почему Владимир Ильич кепку держит в правой руке, а направление показывает левой. И только он решил, что, наверное, Ленин был левша, как изображение на плакате зашевелилось и Владимир Ильич, переложив кепку в левую руку, правую сжал в кулак и кулаком этим погрозил Васильеву.

— А вот это уже полный писец! — сказал Васильев вслух и припустил к гаражу.

В гаражном кооперативе было пустынно и тихо. Только в девяносто шестом боксе была немного приоткрыта дверь и слышались негромкие голоса. Васильев, проходя мимо, вдруг вспомнил эти неторопливые мужские разговоры за бутылочкой, вкус хлеба с салом, запах лука и машинного масла. И ему захотелось остаться, зайти к мужикам и выпить тёплой водки. Но Васильев вовремя спохватился и не дал восторжествовать над собой низменным инстинктам.

В гараже было всё по-прежнему. Васильев проверил свою "Ласточку запорожец" лимонного цвета. Всё было в порядке. Тогда Васильев, выгнав машину, аккуратно закрыл гараж и так газанул, что не ожидающая подвоха машина даже присела на задние колёса, как конь, берущий с места в карьер.

Васильев, поплутав немного по улочкам предместья, решил выехать из Города в

северном направлении. Там дорога шла лесом до границы района.

— Главное за городскую черту выскочить, а там будет полегче, — уговаривал себя Васильев, хотя что будет полегче и отчего, сам не представлял. Не представлял, но облегчённо вздохнул, когда въехал в запах сосен, грибов и прелых листьев. Уже показалась впереди странная скульптура, обозначающая городскую границу — огромный буревестник из нержавеющей стали.

— Ну вот и всё! — радостно подумал Васильев, минув стальной символ революции.

— А вот скажи-ка ты мне, гражданин Васильев, с какой это такой целью ты пытаешься изменить Родине и покинуть Город? — спросил капитан Фесенко и причёсал чёлочку.

ГЛАВА 6

Васильев огляделся. Он сидел в кабинете капитана Фесенко. А сам Фесенко с неизменной расчёсочкой сидел напротив и перелистывал бумажки в картонном скоросшивателе.

— Вот посмотри сам, — снова обратился капитан к Васильеву. — Вот донесения по банкету после премьеры. Все, как один, написали, что гражданин Косяков читал своё клеветническое стихотворение. Все, заметь. Кроме тебя и Добежалова. Вот и Косяков пишет про тебя, что стих Васильев выслушал с нескрываемым интересом. С нескрываемым, заметь. Это как понимать?

Васильев промолчал.

— А я сам тебе скажу, гражданин Васильев, как это понимать, — сказал Фесенко и задумался, рассматривая расчёсочку. Но, видно, ничего нового он на расчёске не увидел. Поэтому расчёска заняла своё привычное место в нагрудном кармане пиджака, а Фесенко продолжил, — а понимать это надо так: не наш ты человек, Васильев. Не наш. Только прикрываешь ты, Васильев, свой вражеский оскал личиной. Но мы тебе эти твои маски посрываем. Мало того, что тебя под суд надо было отдать за недоносительство, так ещё и изменщик Родины оказался.

— Что вы имеете в виду? — спросил Васильев. Не то чтобы ему было страшно. Нет. Но неприятно было очень.

— А что имею, то и введу, — заржал Фесенко. А отсмеявшись, вынул из ящика стола книжку, поклонявил палец, раскрыл книжку на нужной странице и прочитал:

— Статья 58-1а. Измена Родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.173)]

— Ишь ты! Тридцать четвёртого года указом пугает, — засмеялся Васильев, — ваш же классик предупреждал, что история повторяется как фарс, а вы повторить пытаетесь. Фесенко тоже посмеялся за компанию, а потом посерьёзней:

— Фарс, говоришь? Хорошо. Будет тебе фарс — и поднял трубку телефона, — лейтенанта Савина ко мне.

Не прошло и минуты, как в кабинет влетел весёлый лейтенант и доложил, что согласно приказу он прибыл.

— Ну раз прибыл — займись, — дал указание Фесенко. — Задержанный форсит — фарсу хочет.

— А может, трагедию сыграем? — с надеждой спросил Савин, — а то такие актёры пропадают.

— Сказано фарс — значит фарс, — сказал капитан и поднялся, — трагедию как-нибудь потом...

— Есть на потом! — рявкнул лейтенант, — тогда начинаем!..

И он раздвинул стену, словно занавес. И открылось мрачноватое помещение со

стенами, выкрашенными зелёной масляной краской. На дальней стене кнопками был приколот плакат с гербом Советского Союза. А возле стены стоял стол, покрытый газетами. И за столом этим сидели трое.

— Введите подсудимого! — устало сказала женщина, сидевшая в центре.

Васильев взгляделся — это была его мама в кожаной куртке и красной косынке.

Мужчин, сидевших по сторонам, Васильев тоже узнал. Дядя Ваня и дядя Вася — соседи по забытой уже коммуналке.

— Встать! Руки назад! — рявкнул Савин, и в руках у него оказалась винтовка.

Васильев встал и завёл руки за спину. И это оказалось не так уж и неудобно.

— Вперёд! — прогремела следующая команда. — Шаг вправо, влево считаю попыткой к бегству.

Васильев и не пытался бежать. Он вошёл в комнату и встал напротив стола.

— Ну что, гражданин Васильев? — сказала мама, — нашкодил — надо и ответ держать.

— Это точно, — сказал дядя Ваня и цыкнул зубом. У него в одном из передних зубов была дырка, которой он умел эффектно цыкать.

Васильев молчал. Он не верил в то, что всё это на самом деле.

— Тоже мне, Станиславский нашёлся! — правильно понял васильевское молчание дядя Вася, — а вот применить к нему статью, тогда посмотрим. А то — фу-ты, нуты, лапти гнуты!

— Ну что ж? — сказала мама, — ваше, товарищи, негодование мне понятно. — Потом черкнула на листе бумаги и передала бумагу эту сначала дяде Ване, а потом дяде Васе. А когда они поставили свои подписи, обыденно зачитала приговор:

На основании статьи пятьдесят восемь прим Уголовного кодекса СССР применить к гражданину Васильеву высшую меру уголовного наказания — расстрел. Приговор привести в исполнение немедленно.

— Как это? — пробормотал Васильев, — я же ничего... Я же только попробовал...

— Вот, у нас тоже одна попробовала — и двойню родила, — засмеялся дядя Ваня. А дядя Вася добавил:

— Ты это... заходи потом. Пивка попьём, покалякаем...

И Васильева увели.

Васильев трясся в кузове “воронка”, смотрел на двух очень серьёзных охранников, и ему казалось, что стоит только протереть глаза — и этот дурдом закончится. Но глаза он протереть не мог — руки были в “браслетах”, а встряхивание головой не помогало. Васильева везли долго и, главное, он не мог понять куда. Поэтому очень удивился, когда его вывели из машины. Он был на площади перед Пединститутом, всего лишь в двух кварталах от КГБ. На площади в каре стояла толпа любопытных. На ступеньках, ведущих к институту, был выстроен духовой оркестр. Васильева поставили в центр каре, и лейтенант Савин прокричал в мегафон:

— А вот сейчас, товарищи, перед вами предатель и изменщик. Суд уже вынес свой справедливый приговор, но хотелось бы слышать голос народа.

— К стенке его, подлюгу! — прокричала женщина с синяком под левым глазом.

— Правильно! Стрелять таких надо! А то шляются, — поддержали её ещё несколько женских голосов.

— Как бешеную собаку! — истерически выкрикнул старичок в кепке и потряс в воздухе сжатым кулачком.

— К стенке! — рявкнула площадь, и над толпой взмыли кулаки.

— Правильно, товарищи! — согласился в мегафон Савин. И приказал: стенку ввести.

Духовой оркестр заиграл марш “Эй, вратарь, готовься к бою...”, и на площадь выбежали футболисты. Они выстроили позади Васильева “стенку”, прижавшись друг к другу плечами и закрыв руками причинные места.

— Молодцы! — похвалил футболистов Савин и выкрикнул:

— А теперь бойцы!

Оркестр тут же перешёл на “Марш Будённого”, и на площадь вприсядку, но чётким строем вышла, держа автоматы наперевес, группа солдат. Васильев посмотрел

повнимательней и узнал коллектив народного танца Дома культуры.

— Эти настреляют, пожалуй, — усмехнулся Васильев и хотел ещё что-нибудь язвительное придумать, да не успел. По площади проскакал на деревянной лошадке бравый генерал. Усы у генерала были настолько могучи, что на правом сидела галка и нисколько не мешала бравому вояке. Пока он вольтижировал перед народом, танцоры выстроились перед Васильевым и передёрнули затворы. Стало непривычно тихо. Потом в этой тишине рассыпалась барабанная дробь. Генерал вынул саблю из ножен искомандовал:

По изменщику — огонь! — и блеснул на взмахе саблей.

Васильев закрыл глаза на всякий случай. И правильно сделал. Потому что застрекотали автоматные очереди, и Васильев ощутил, что по его телу стучит нечто непонятное, словно град по крыше. Васильев открыл глаза. Он стоял по грудь в бутылочных пробках.

Автоматы смолкли, и автоматчики во главе с генералом поклонились публике, сорвав аплодисменты.

Ишь, буржуй! — сказали в толпе, — пробки всё от шампанского да от сухого.

— Неправда! — обиделся за Васильева лейтенант. — Тут сколько хочешь водочных есть. Так что любителей понюхать пробку на халяву — прошу! — и Савин картинно повёл рукой в сторону Васильева.

Народ рванулся. И через несколько минут Васильев стоял уже на пустой площади.

Савин, подойдя, расстегнул Васильеву наручники и предупредил:

— Смотри мне. Следующий раз трагедию сыграем или, того хуже, прямиком в дурдом.

— Из дурдома — да в дурдом, — пошутил Васильев, массируя кисти рук. Но рядом с ним уже никого не было, так что шутил Васильев зря.

Только бегал возле газона старичок, бил себя в грудь кулаком и взвизгивал:

— Как бешеных собак! Как бешеных собак!

Васильев узнал его. Это был Виктор Васильевич Солнцев.

Виктору Васильевичу в наследство от отца досталась замечательная фамилия Солнцев и больше ничего. Отца Виктор Васильевич не помнил — тот умер в тот же год, когда родился сын. Витёк вырос светловолосым мальчонкой с ярко-голубыми глазами навыкат. В нём кипела бешеная энергия. Даже во сне он не мог расслабиться и дёргал то ногами, то руками, как пёс, которому снится охота.

Школу он ненавидел, но терпел — ему сказали, что учиться нужно, чтобы выйти в люди, и он верил этому, как и всему тому, что говорили старшие. Он устойчиво успевал на три, потому, что за двойки и непослушание его нещадно били. Витькина мама постоянно зудела о том, что самое главное в жизни — быть послушным, тогда тебе все дороги открыты.

К восьмому классу Витя сообразил, что дороги ему открыты далеко не все, и ушёл в профтехучилище, а затем на завод.

Вот там-то, на родном заводе, и убедился Виктор, что для покладистых людей есть очень много возможностей, чтобы стать человеком.

Отработав год, Виктор вступил в Партию. Послушный и на редкость дисциплинированный Витя потрясал партторгов своим вниманием к их немудрёным речам. На собраниях он сидел всегда в первом ряду и ел глазами выступающих.

Иногда и ему поручали выступить. С какой искренностью читал Витёк свои несколько слов, всегда начинавшиеся одной и той же фразой: “Мы, молодые рабочие!..”

Бойкий юноша Витя потихоньку стал привлекать внимание начальства.

В трудные дни окончания кварталов, когда злобный мат висел в цехах, как туман, Витя морально поддерживал коллектив. Сам он не знал ни уныния, ни угрызений совести просто в силу своего неуёмного темперамента. Зато он знал несколько стандартных шуток и острых словечек, например: “Отвали, моя черешня!”, “Пусть лошадь думает — у неё голова больше”, “Не бери в голову, бери между ног!”, “Как волка ни корми, а у слона — больше” — и этими словечками умело поддерживал дух коллектива.

Лет через пять Виктор Васильевич уже был избран членом цехкома, затем завкома.

Свои выступления он уже начинал фразой: “Мы, кадровые рабочие...”

В быту тоже было всё в порядке. Женился он рано. Жену нашёл подстать себе. Когда они шли по улице, испуганно поглядывая по сторонам, казалось, что идут две мышки: одна белая, вторая серая. Через некоторое время у них появился мальчик, тоже белобрысенький и бойкий. Злые языки, правда, трепали, что здесь не обошлось без помощи очередного Витькиного отчима, но на то это и злые языки, чтобы трепаться. Виктор Васильевич уже давно не вкалывал, как другие работяги. Он подслушивал разговоры в бытовках, за что и получил кличку “мышинное говно”. Он сидел на многочисленных заседаниях, планёрках и совещаниях. Он заметно обрюзг, надевал под спецовку белую рубашку с галстуком и любил, когда его называли по имени-отчеству. Он незаметно и непонятно для него самого стал передовиком производства и к юбилею Революции был награждён орденом Дружбы народов.

Виктор Васильевич понимал, что попал в струю и что самое главное теперь не потерять то, что набрано. Он старался вовсю: наушничал, интриговал, подпаивал при случае начальство, по-собачьи преданно заглядывая в глаза. И он добился своего. На очередных выборах его избрали депутатом горсовета. Ещё через полгода стал Виктор Васильевич и членом горкома. Он наконец-то выстроил себе дачку — нелепое сооружение из вагонки. Он встал в очередь на машину. И чтобы заслужить всё это, пришлось Виктору Васильевичу покрутиться. Тут уж надо было держать ухо востро, надо было точно знать, где лизнуть, а где гавкнуть.

По выходным, когда садились обедать, Виктор Васильевич нудил — воспитывал семью:

— Культуры надо набираться, культуры. А то живёте, как дикари, ничего хорошего вашу душу не задевает. Вот мы, рабочий класс, как раз и являемся носителями высокой идейности и пролетарской культуры.

Сынишка, который уже в восьмой класс пошёл, молча жевал, уставившись в тарелку. Жена угодливо поддакивала:

— Ты бы учил нас почаще, Виктор Васильевич, а то, и правда, живём — ничего культурного не знаем. Сам Виктор Васильевич ел очень элегантно — с двух рук. В правой держал ложку, которой поддевал свои любимые котлеты с картофельным пюре, а в левой — вилку, на которую цеплял кусок хлеба. При этом он низко наклонялся над тарелкой и азартно сопел.

К сорока годам стал Виктор Васильевич стареть. Сам в недавнем прошлом отчаянный хохотун, умевший смеяться анекдоту, который рассказал начальник, до икоты, он теперь раздражался и вспыхивал, когда слышал, как хохочут мальчишки на улице. Раздражало и то, что народ забыл про его, Виктора Васильевича, заслуги перед рабочим классом. На очередных выборах его “прокатили на вороных” и поставили снова к станку.

Да и с памятью стало что-то твориться. Пару раз попытался Виктор Васильевич припомнить свою жизнь — ничего не получалось, сплошная чернота. Он помнил, что женился однажды, но не мог вспомнить, как же это случилось, он не помнил, как вырос сын. Он ничего не помнил, кроме того, каким он был героем, как стойко защищал интересы класса, как срезал однажды инструктора райкома и как все при этом смеялись, и как интеллигент-инструктор выглядел полным дураком.

Виктор Васильевич в Бога не верил. Ему сказали однажды, что Бога нет, и он принял это как данность. Поэтому когда сын, закончив школу, неожиданно поступил учиться в духовную семинарию, пойдя поперёк отца, Виктор Васильевич просто забыл, что у него был сын. А когда тот, получив сан, ушёл в монастырь, Виктор Васильевич и вовсе вычеркнул его из своей жизни. Так же легко и просто он забыл, что вышел на пенсию, что однажды умерла жена. Умерла так же как и жила, тихой мышкой: легла и не встала. Только в доме для престарелых, куда его определил завком, он вновь почувствовал себя на коне.

Он составил комиссию, которая проверяла качество питания, он боролся за мораль и был против поздних браков, он читал бесконечные лекции соседям по корпусу, с которыми иногда пил одеколон, и соседи удивлялись, какой цельной и кристальной души наш Виктор Васильевич. Но удивлялись шепотком, потому что, не дай бог, Виктор

Васильевич услышит. Он сразу начинал яриться и, брызгая слюной, кричать, что души на самом деле нету и что это буржуазные штучки и происки классовых врагов.

Ну что ж. Если нет, так и взять неоткуда...

Васильев постоял немного. Поразмыслил. А потом увидел свой “Запор” на обочине.

— Вот это спасибо! — обрадовался Васильев. — Это в самом деле забота о человеке. И Васильев поехал домой. Задумавшись, он несколько раз проезжал нужный поворот и петлял бы до утра, наверное. Но выехал вдруг на центральную площадь и очнулся. Вокруг елки в центре площади водили хоровод грустные дети, и неутомимый Дед Мороз давал им указания, грозно взмахивая посохом.

— И тут из-под палки! — подумал Васильев. Потом прислушался к Деду Морозу, узнал голос Щепотко, помассировал виски и уже минут через пятнадцать был в своём дворе. — Всё понятно, — говорил себе Васильев, поднимаясь по лестнице. — Это я умер и попал в ад. Всё ясно. Наверное, террористы взорвали самолёт, в котором я летел. И всё произошло так быстро, что никто и не заметил ничего. И сразу все попали кто куда. Я, например, в ад. В этом никаких сомнений. Кичился всю жизнь, что всегда могу найти выход из любой ситуации — и на тебе! Попал. И никогда мне отсюда не выбраться. Никогда.

— Вот с таким настроением вошёл Васильев в дом. Никого не было. Ни кошки, ни домового. Васильев стал под душ, забыв, что горячей воды не было, нет и не будет. Поэтому, когда на него хлынули струи ледяной воды, заорал сколько было мочи:

— Константин, мать твою! Когда этот бардак закончится?

— Чего шумишь, Петрович? — высунул Константин лохматую морду из стены. — Ты чего так орёшь? Мышей перепугал.

— Ты, правозащитник мышиный, не увиливай! — Васильев был зол как никогда. — Ты скажи лучше — горячая вода будет или нет?

— Тут, понимаешь ли, такое дело — Константин вылез из стены и уселся на стиральную машину. — С горячей водой... это... другой отдел работает. Рогатые, короче. Все кочегарки под ними.

— И что? — спросил Васильев. — Ничего нельзя придумать?

— Почему нельзя? Можно. — Константин сунул лапу под шапку и почесал свою лохматую башку. — Взятку дать надо. Они водку очень любят. Мы им бутылку, а они нам воду на пару дней.

— Почему на пару? — Васильев закончил свою ледяную пытку и растирал тело полотенцем.

— А кто же им вторую бутылочку принесёт, если они навсегда подключат? — Константин загордился своими познаниями. — Ну что? Сбегать или как?

— Беги, — скомандовал Васильев. — И мне парочку прихвати. Деньги в пиджаке. Домовой рванул было, но тут же остановился:

— Ты что? Пить эту водку будешь, что ли?

— Жевать буду, — порадовал домового Васильев.

— Ох! — загоревал Константин. — А я уже всем друзьям раструбил, что мой непьющий, что прошлый раз — это несчастный случай на производстве был.

Он охнул ещё раз и исчез.

Васильев нарезал колбасы из праздничного набора, достал пару яиц из холодильника и соорудил яичницу. Поставил чайник. Только он расправился с едой, как пришёл Константин. Выставил на стол две поллитры и высыпал сдачу сплошь двушками.

— Ты что, брат, — спросил Васильев, — на паперти стоял?

— Где надо, там и стоял, — парировал Константин. — А чё? А вот из автомата позвонить или ещё чего. Чёрные сказали, что на неделю подключают, а потом снова надо.

— А что ты их по-настоящему боишься назвать? — улыбнулся Васильев, — договорённость какая или просто так?

— Нельзя, — серьёзно ответил Константин. — Их назови — они сразу и появятся. А с этими парнями лучше не шутить.

Васильев решил запомнить хохму про внезапное появление, окончательно убедился,

что если он не в самом аду, то обязательно где-то рядом, и пошёл бриться. Ах, какое это удовольствие — бриться с горячей водой! Васильев наслаждался процессом и думал, что его положение не так уж и плохо. И что напрасно он так рвался отсюда. И здесь можно неплохо устроиться, если с умом к делу подойти. Довольный Васильев приделался, посоветовал Константину потратить двушки на что-нибудь нужное, например, на пирожные, и пошёл на вечеринку к Нике. Во дворе его ждал сюрприз. Верный “запорожец” был без колёс и мирно стоял на четырёх кирпичках. Васильев было расстроился, а потом подумал, что если он покойник, то и ездить ему некуда, и успокоился. Вот таким умиротворённым подошёл Васильев к дому Ники Воскресенской, равнодушно пробежал глазами по мраморной доске с надписью “В этом доме в 1879 — 1882 гг. у чертёжника-подрядчика В. Сергеева жил и работал “мальчиком” А. М. Пешков (М. Горький)”, поднялся на второй этаж и позвонил в дверь, обитую коричневым дермантином.

ГЛАВА 7

— Заходи, Олежка, заходи, — пропела Ника, открыв дверь. — Только тебя и ждали.
— Точно! — проорал из глубины коридора Кучерявый, — уже хотели в милицию звонить да за тобой послать. А ты сам явился.
Он считал себя большим шутником и никогда не упускал случая блеснуть шуткой.
— Что у тебя на доме доска какая-то странная висит? — спросил Васильев, передавая бутылки, — тут в самом деле Горький жил?
— А что? — спросила Ника, несколько кокетничая. Как будто это не на дом приколотили доску, а ей на грудь. — Не похоже? У нас тут и Пушкин проживал, и Гоголь неподалёку тоже. Такой Город.
— Да, — подтвердил Кучерявый. — Я вот тоже... Пару недель назад подхожу к своему дому, смотрю — доска с надписью, что в этом доме Некрасов сочинил “Кому на Руси жить хорошо”. А я, дурак, думал, что дом этот недавно построен. А оказалось — музейная ценность, так сказать. Теперь все жильцы переполняются законной гордостью.
Васильев снял обувь и прошёл в комнату. Там было всё как всегда. Незамысловатая закуска, молчаливый Добежалов, ковыряющий в тарелке остывшую котлету, Таня Крайняя, дремлющая в уголке, раскрасневшаяся Таранькина, Кондратьев, шепчущий нечто Маше Коврижной, и Витя Хрупак, орущий под гитару, что сегодня он непременно распорядится своей субботой. Только Никин муж Юра Копало сидел не за столом, а в сторонке, уставившись на картонный ящик. В передней стенке ящика было вырезано отверстие, напоминающее телеэкран, а сбоку прикреплены несколько тумблеров.
— Юра! А ты что компании чураться? — спросил Васильев, усаживаясь за стол.
— Не мешай, блин горелый! — проворчал Копало, — не видишь — телик смотрю?
— И что передают? — спросил Васильев.
— Сам глянь! Видишь — Штирлиц начинается.
Копало щёлкнул тумблером и в комнату полилась песня о том, что не следует думать о минутах. Довольный Юра пояснил:
— У Сёмки Черепа купил вчера. Все программы берёт. Вот Штирлиц закончится — “С лёгким паром” начнётся.
— А почему, Юра? — спросила Ника. — “С лёгким паром” всегда на Новый год показывают.
— Потому что Новый год и есть! — торжественно провозгласил Копало и замер, наслаждаясь приключениями хмурого разведчика.
— А пока ваш Новый год добирается, у нас Первомай шагает по планете! — провозгласил Кучерявый и затыкнул: “Не спи, вставай, кудрявая, в цехах, звеня...”
— Вань! А кто это такая — кудрявая, которой вставать надо? — перебил Васильев хорошую песню дурацким вопросом.
— Как кто? — удивился Кучерявый, — там же русским языком говорится: “Страна

встаёт со славой”. Вот кто.

— А я думал — девушка... — разочаровался Васильев.

— Какая девушка, Олег? — не поймал шутку бытовой юморист Кучерявый. — Там же поётся “кудрявая”. А откуда у девушки кудри типа “завивка”? Хорошая девушка должна косы носить и быть примером, так сказать... в быту и трудовых успехах.

— А ты почему Кучерявый, а не лысый? — неожиданно спросил Добежалов.

— Я потому что такой... — замешкался Иван, — родился потому что. Вот.

— Ну и она, девушка эта, взяла да и родилась кудрявой, — сказал Добежалов и снова уткнулся в котлету.

— А вот, за день рождения! — заорал Хрупак и налил.

Все, и Васильев в том числе, с удовольствием выпили и дружно спели песенку про то, как бегут пешеходы по лужам.

Васильев пел, вспоминая давно позабытые слова, и чувствовал, что ему хорошо и легко. И не хотелось уже возвращаться в сумасшедший Нью-Йорк, а хотелось, чтобы это ощущение единения и взаимопонимания длилось бы и длилось.

— Если я в аду... — рассуждал Васильев, распевая одновременно про тонкую рябину, которой хотелось прижаться, да никого подходящего, кроме кола в изгороди, не было рядом, — если я в аду, то и все тоже в аду. Как же иначе? Ну с

Добежаловым тут всё ясно — он давно умер. А остальные? Живыми же на тот свет не берут. Значит, пока меня не было, что-то произошло. Эпидемия, наверное. Если бы война или что-то такое — я бы знал непременно. Надо будет спросить осторожненько. И пока Васильев оглядывал компашку, выбирая себе жертву, Кондратьев предложил выпить за искусство.

— Гениально! — пропела Коврижная и подцепила вилкой килечку.

— За бессмертное искусство! — добавил Кучерявый. Выпил и затянул про песню, которая строить и жить помогает.

— Гениально! — поддержала его Коврижная.

— Ага! — обрадовался Васильев, сообразив, что у неё спросить — это самый простой вариант. Тем более, что сидела она рядом. И он осторожненько взял Марию за руку. Пульса не было!

Однако Коврижная по-своему поняла Васильевский жест. Она наклонилась и прошептала:

— Гениально! Но сегодня ничего не выйдет, Олежка. Критические дни. Да и мой крокодил сегодня дома.

— Я, собственно... — начал оправдываться Васильев, — я ничего такого... вообще...

— Хороших порывов нечего стесняться, — утешила Васильева Коврижная. — Они так редко бывают, порывы эти.

Потом она выпила рюмку и закусила килечкой.

Васильев поднялся и под песню про комсомольцев-добровольцев пошёл в туалет, а потом в кухню на перекур. Там уже стоял у открытого окна Кондратьев, курил и задумчиво смотрел на ночной город.

— Скажи, Олежка, — спросил Кондратьев, не оборачиваясь, — вот окна горят, люди там небось... Ты мне скажи — они живут или им только кажется, что они живут?

Васильев, подойдя поближе, взял Кондратьева за руку. И, к своему удивлению, почувал тугой, нетерпеливый пульс.

Кондратьев улыбнулся:

— А я тебя, Олег, и щупать не буду. Я и так знаю...

Васильев тоже улыбнулся и закурил:

— Саша! Ты понимаешь, что тут происходит?

— Ни хрена не понимаю, — утешил Кондратьев. — Я на съёмках в Смоленске был.

Приезжаю, а тут... вся эта хренотень. Чуть крыша не съехала.

— И что? Все покойники, кроме алкашей? — грустно спросил Васильев.

— Нет, — равнодушно сказал Кондратьев. — Не все. Только элита наша, так сказать.

Номенклатура, интеллигенция всякая и к ним примкнувшие. Я на заводах бываю с концертами. Работяги живут как жили. И ни хрена им не стало.

— Как это не стало? — заволновался Васильев. — Вот Владлен говорил, что детей как-то... не рожают, что ли...

— Ты Владлена больше слушай! — засмеялся Кондратьев, — он тебе ещё не такого споёт. Они же все видят только то, что хотят видеть.

Друзья, быть может, ещё поговорили бы, но в кухню бочком вошёл Илюша Жердев и вынул из-за пазухи бутылку водки.

— А теперь, парни, за Новый год, потому что он, сволочь, снова к нам подбирается. — И Жердев начал наливать. Он был настолько обаятелен и убедителен, что не выпить с ним было просто невозможно.

Но Васильев удержался от соблазна, скользнул в коридорчик и ушёл не прощаясь. Ночь была душновата. Васильев брёл к дому и слушал, как из открытых окон плыла музыка рязановского шедевра. И снова возникло у Васильева желание бежать из этого города как можно скорее и дальше.

Во дворе васильевский “запорожец” всё так же сиротливо стоял на четырёх кирпичках. Только очень странно стоял, покачиваясь, как пьяный мужик. Васильев подошёл поближе. Это какая-то изобретательная парочка умудрилась открыть машину и забраться внутрь. И теперь голые девичьи ноги, упираясь в ветровое стекло, напоминали военные прожектора.

— А что? — улыбнулся про себя Васильев, — дело молодое...

И тут же появился милиционер.

— Что это вы тут делаете, товарищ? — сурово спросил страж закона у Васильева. И не дождавшись ответа, спросил ещё суровей:

— Чьё это транспортное средство?

— Моё это средство, — приветливо разъяснил Васильев. — И ничего я тут не делаю. Я домой из гостей иду.

— Придётся, гражданин, пройти со мной, — сказал милиционер и положил руку на кобуру, — сигнал был. Вам будет предъявлено обвинение в использовании транспортного средства не по прямому назначению и организации притона.

— Чёрт тебя побери! — в сердцах ругнулся Васильев и тут же пожалел, что ругнулся, потому что из подворотни выбежал здоровенный чертяка с вилами в лапах, заговорщически подмигнул Васильеву и, насадив взвизгнувшего милиционера на вилы, убежал назад в подворотню.

Васильев остолбенел. И долго бы стоял неподвижно, но “запорожец”, заскрипев зубами, съехал с двух кирпичей и грозил совсем перевернуться. Тогда Васильев очнулся и пошёл домой, ему не хотелось смотреть на муки старого дружка. Поднимаясь по лестнице, Васильев думал о том, что предыдущие его догадки справедливы и он попал в ад.

— Иначе откуда чёрт с вилами взялся? Черти — они в аду живут, а на земле только алкоголикам показываются.

И тут же Васильев почувствовал себя настолько пьяным, что ему пришлось сесть на ступеньку и подождать немного, пока пройдёт головокружение. Васильев сидел и вспоминал, сколько он выпил на Никиных посиделках. Только ничего ему не вспоминалось, кроме первой и последней рюмки. Васильев укоризненно погрозил пальцем неизвестно кому, выговорив:

— Впредь осторожней надо быть. А то... — и пошёл потихоньку, придерживаясь правой рукой за стену.

Дома было пусто. Ни домового, ни Милки. Васильев побродил по комнатам, а потом уселся на кухне. А как только сел, почувствовал запах жареного сала. Васильев насторожился и, посидев немного, сказал:

— А ну показывайтесь! Где вы там?

И они показались.

За столом рядом с Васильевым сидели Константин и два здоровенных чертяки в ватниках. У одного рога были бараньи, а у второго прямые, с красной ленточкой, завязанной бантиком на левом роге. На столе стояла початая бутылка водки. Милка на задних лапах хлопотала у плиты. Росту она была чуть ниже среднего человеческого.

Черти Васильева не удивили. Константин тем более. Но вот внезапно выросшая кошка... Да ещё готовит что-то.

— А что такого? — обернулась Милка, — яичницу жарю с салом. Мужчинам закусить нужно.

— Эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски чарку выпить перед ней, — процитировал Твардовского чёрт с красной ленточкой и начал наливать. — А вот настоечки нашей! — пододвинул к Васильеву рюмку чёрт с бараньими рогами. — Просветляет.

— На чём настоечка? — спросил Васильев, разглядывая напиток на свет. Он уже смирился с тем, что он в аду, и ему было на всё наплевать.

— На чертополохе, конечно, — объяснил тот, что с бантиком. — На чём же ещё, — и добавил озабоченно, — так за что выпьем?

— Я, конечно, выпью этой вашей чертополоховки, — сказал Васильев и очень строго посмотрел на всех. — Почему бы и не выпить в хорошей компании. Только вы мне, ребята, сначала объясните всё это... — Васильев эффектно, как ему показалось, повёл рукой вокруг.

— Что — *это*, братан? — спросил тот, который без бантика, выпил рюмку и подцепил вилкой ломтик сала.

— А вот это самое, — съязвил Васильев. А потом подумал и пояснил: — Кошка с яичницей, чер... мифические существа за моим столом, чертополоховка какая-то, этот бантик на рогах, в конце концов!

— Ну, блин, началось... — покачал головой тот, что с бантиком, а сосед, закусывая, промямлил:

— А тут и объяснять нечего, Олег Петрович. Нечего, потому что ничего и не произошло. И не происходит. И вряд ли произойдёт. Никакие мы не черти. Бывшие научные работники. У Егора Кузьмича, — он кивнул головой на чёрта с ленточкой, — кандидатская степень по славянской мифологии. Я бывший профессор. А сейчас мы теплотехниками работаем, потому что это свойственно русской интеллигенции на историческом переломе и в поисках себя. Потому что настоящий интеллигент должен быть всё время против. А рога и всякие кошки с яичницей... Олег Петрович... Скажу честно. Мне кажется, что для пожилого человека Вы просто выпили лишнего.

— Хорошо. Предположим. — Не унимался Васильев. — А вот этот? — Васильев показал на смущённого Константина. — А эта дурь с временем? А эти покойники, живущие как ни в чём не бывало? А то, что я уехать домой не могу? А эти ваши “органы”, в конце концов?

— Да, — не моргнув наглым глазом, сказал чертяка. Впрочем, какой чертяка? За столом перед Васильевым сидел обычный мужик в ватнике. Только в очках. И второй, что был с ленточкой на роге, тоже оказался вполне симпатичным человеком средних лет. И кошка Милка стала обычного роста и тёрлась у ног.

— Так вот, — продолжил бывший чёрт, — все эти ваши, Олег Петрович, покойники, черти, домовые и прочие заморочки — суть искривление пространства. Я бы мог много на эту тему наговорить, да вы не поймёте или поймёте превратно. А Город? Что Город? Каждый свободный организм имеет право на чудачество, в конце концов. Согласитесь — если уж свобода, так свобода для всех.

— Убедительно, — сказал Васильев и выпил. И как только выпил, так закружи -лось в глазах, полетело, и почувствовал Васильев, что погружается в липкое и бездонное. И слабым эхом отдавались голоса:

— Сомлел, бедолага... Понесли на диван... А ты докладывал, что непьющий...

Рядовая Милашкина, не крутись под ногами... Тяжёлый, гад... Сержант Константинов, за ноги бери... Какой врач?.. Если к утру не сдохнет — жить будет...

Тогда Васильев напрягся изо всех сил, разлепил глаза, и наступило утро.

А утро выдалось приятным, потому что горячая вода была. Васильев встал под душ и решил, что недаром он рисковал здоровьем, принимая внутрь эту подозрительную чертополоховку. А потом вспомнились смутные голоса, величавшие Константина сержантом, но Васильев эти ненужные воспоминания отогнал, сказав весело и громко: — Ну и хрен с ним!

Потом выпил кофе и покурил. Хотел было позавтракать, но, заглянув в холодильник, понял, что завтракать-то нечем.

— Константин, блин горелый! Совсем за хозяйством не следишь! — проворчал Васильев и поднял телефонную трубку. Звонила неутомимая Елена Михайловна. Поставленным меццо-сопрано она торжественно напомнила, что сегодня в четыре — сбор актёров, занятых в Пушкинском вечере. Васильев посмотрел было на часы, а потом спохватился — времени-то нет. Впрочем, это даже и хорошо: никогда не опоздаешь.

Васильев решил перекусить в кулинарии, что была расположена на первом этаже. Чем-нибудь накормят, — подумал Васильев, надевая куртку, — не может быть, чтобы у них совсем ничего не было. А потом еды раздобуду.

И Васильев сунул в карман плетёную авоську.

В кулинарии, на которую так рассчитывал голодный Васильев, было тоскливо. К лиловой стене был приколот кнопками плакат, призывающий пить соки и утверждающий, что это кладовая витаминов. В застеклённой витрине на подносе из нержавеющей стали лежали два бутерброда с сыром. У стеллажа на табурете продавщица в кружевной наколке на голове увлечённо читала журнал “Огонёк”. Васильев потоптался у прилавка. Он понимал, что мешает даме расти духовно, и ему было совестно. Но всё же, дождавшись, когда продавщица начала переворачивать страницу, он вякнул негромко:

— Простите, девушка...

— Я вам не девушка, — парировала продавщица, не отрываясь от журнала.

— Васильев устыдился:

— Хм... Товарищ...

— И не товарищ, — тут же ответила образованная продавщица. Потом подняла глаза, долго рассматривала из-за журнального барьера Васильева и, наконец, смилостивилась:

— Я работник общепита. Чё надо?

— Да я... Как то... Вот... — начал было мяться Васильев, но работник общепита тут же эти интеллигентские мямли обрубил:

— Короче.

— Да я поесть хотел, а у вас... — и Васильев обречённо показал рукой на сиротские бутерброды.

— Что ж жена не кормит? — заинтересовалась продавщица и даже отложила “Огонёк” в сторону.

— Я неженатый, — сказал Васильев и не соврал ни на грамм, потому что жена осталась в далёком и недостижимом уже Нью-Йорке.

— Это ж надо! — продавщица подошла, наконец-то, к прилавку. — В первый раз за тридцать лет неженатого мужчину вижу. Что? Больной — или после отсидки, или ваще тю-тю? — она выразительно покрутила указательным пальцем возле виска.

Васильев даже обиделся:

— Я вас не понимаю. Почему же это раз неженатый, так непременно тю-тю? Я вполне нормальный во всех местах. Просто времени как-то не было. Всё учёба, знаете... работа...

Вот тут Васильев определённо и нагло врал. Но его можно было и понять, и простить.

— А кем же вы, такой учёный, работаете? — спросила работник общепита и начала возиться со своим, загадочным для Васильева, инвентарём, — вам кофе с молоком?

— Мне чёрный, — тут же ответил Васильев. И добавил, торопясь, — и с сахаром!

И только потом негромко, но гордо, забыв, как клял ещё позавчера свою профессию, добавил:

— Артистом я работаю.

— Скажите, пожалуйста! — деланно удивилась продавщица, — вам яшенику — или блинчики соорудить?

— Блинчики тоже, — с достоинством ответил Васильев, взял свой кофе и понёс к столику.

— И не успел он толком устроиться и полюбоваться на пыльный букетик искусственных ромашек в пластмассовой вазочке, как премудрая работница общепита стояла рядом, а глазунья из двух яиц — на столе.

— Ну раз так, давайте знакомиться, — весело сказала общепитовская дама, вытерла руку о передник и протянула Васильеву:

— Валя.

Васильева несколько смутил такой поворот событий, но всё же он пожал плотную дощечку Валиной руки и представился:

— Олег.

— А по батюшке? — закокетничала Валя. — А то неудобно как-то. Артист всё-таки. Не хухры-мухры.

Васильев тоже закокетничал:

— Отчество у меня простое. Петрович. А профессия самая никчемная. Артиста каждый обидеть может.

— Это вы напрасно, — огорчилась Валя. — Всё-таки несёте, так сказать, искусство в массы. И деньги за это платят, я думаю. И не вагоны грузите, как-никак.

— Это да, — согласился Васильев. — Вагоны не грузжу.

Тут Васильев загордился тем, что вагоны не грузит, и достал бумажник:

— Что там с меня будет, Валечка?

Официантка уточкой, переваливаясь с ноги на ногу, прошла за прилавков, пощёлкала кассовым аппаратом и грустно сказала:

— Один рубль тридцать восемь копеечек с вас.

Васильев тоже подошёл к прилавку и, отсчитывая деньги, спросил:

— А не подскажете ли вы мне, где тут продуктов купить можно. А то сегодня заглянул в холодильник — пустота.

— Вопрос, конечно, интересный, — улыбнулась Валентина и посмотрела на Васильева особенным взглядом. Так изучающе-сочувственно психиатр смотрит на пациента.

Насмотревшись вдоволь, она подвела итог:

— Что с Вами сделаешь? Придётся помочь. Но имейте в виду — от себя отрываю.

И тут же набрала номер на телефоне:

— Алло! Муся?.. Это Валюха. Слушай внимательно, блин! Тут к тебе человек подойдёт от меня... Отоварь... Да... Да... Нееееет!.. А пошла ты!

После такого загадочного монолога Валентина наклонилась к Васильеву через прилавков и прошептала:

— Зайдёте в райпрофсоюзевский магазин. Это рядом тут. Найдёте, я думаю. Спросите Марию. Скажете, что от меня. Понятно?

— Понятно, — сказал Васильев. И начал испуганно пятиться к двери, — спасибо вам, Валя, за всё.

— А Вы заглядывайте почаще, — пригласила Валентина и загадочно улыбнулась.

Васильев вышел на улицу, прислонился к стене слева от крылечка кулинарии и закурил. Он затягивался горьковатым дымом и с грустным интересом всматривался в окружающий его мир. И мир этот был сегодня до неприличия обнажённым. И в обнажённости этой была жестокая правда, которой Васильев ранее не замечал. Как будто пелена с глаз спала.

— Ну что ж? — думал Васильев. — Будем жить. Раз уж так карта легла. И не надо обманывать себя тем, что удастся отсюда вырваться. Не надо. Вот, научусь крутиться-вертеться. Продукты доставать или что-нибудь ещё. Вот, Валентину эту охмурять начну. Да мало ли ещё что? А все эти заморочки?.. Нужно ещё понять, были они или не

были. Мало ли что я мог нафантазировать? В конце концов, каждый из нас видит то, что хочет видеть. Значит, где-то в подсознании у меня сложился именно такой облик Города, а не какой-нибудь другой. Город как город. И нечего... Возьми да прослушай пульс у жителей Токио или... да любого города. Тоже удивлялок будут полные штаны. Васильев бросил окурок, сплюнул и двинулся в сторону нужного магазина.

А магазин оказался совсем рядом. Стоило только улицу перейти и, свернув налево, протопать полквартиры. И было в этом магазинчике чисто и прохладно. На стеллажах из нержавеющей стали покоились банки с маринованными помидорами, окостеневшие пачки соли и пакеты с перловой крупой. У кассы грузная дама в белом лениво переругивалась со старухой, которая утверждала, что её нагло обсчитали на девять копеек. Васильев не успел толком рассмотреть ассортимент магазинчика, как кассирша прекратила дискуссию. Она выдала бабке спорные девять копеек, посоветовав ей отложить эти деньги на похороны, и устала на Васильева.

— Простите, мадам! — заегозил Васильев. — Могу ли я поговорить с Мусей?

— Муся! — Закричала кассирша в загадочную глубину подсобных помещений. — Тут тебя интеллигент хочет.

— Пусть пройдёт, — донёлся голос. — Это Валькин новый кадр. Пусть пройдёт, а мы оценим.

— Проходите, мужчина, — сказала кассирша.

Ухмыльнулась и, откинув вверх крышку прилавка, крикнула :

— Вроде ничего себе.

Васильев униженно засуетился и прошёл, вернее, козликом проскакал вглубь магазина. Там, протиснувшись в коридорчике между мешками с сахаром, он очутился в чистенькой комнатке со столом и двумя мрачными сейфами. За столом и сидела Муся, оказавшаяся, вопреки ожиданиям, сухощавой, как спортсмен-марафонец.

— Ну-ну, — сказала Муся и подпёрла ладонью правую щеку. — Покажитесь-покажитесь. Интересно, кого в этот раз Валюха подцепила?

Васильев молчал.

Васильев молчал, а поджарая Муся любовалась. А налюбовавшись, подвела итог предварительного осмотра:

— Ладно. Годится. Надо Вальке помочь, а то всё в девках мается.

Это было определённо одобрение Васильева как перспективного жениха. Васильев открыл было рот, чтобы вякнуть, но вспомнил пустой холодильник и вякать не стал.

— Ну так что же хочет наш артист? — спросила Муся, всё ещё не сводя с Васильева буравящего взгляда.

— Да я... собственно... — начал мяться Васильев. — Мне бы... как бы... еды. Вот.

— Ладно, — Муся раскрыла лежащую на столе амбарную книгу. — Короче. Как записать?

Васильев я. Олег Петрович.

Васильев вдруг ощутил униженность происходящего и, чтобы вернуть испарившееся неведомо куда собственное достоинство, уселся на стул и закурил.

— Миша, зайди! — закричала Муся и тоже закурила. А закурив, достала бутылку коньяка и две рюмки.

— Я не пью! — замахал руками Васильев. — Вернее, пью, конечно. Но сейчас не могу — у меня репетиция.

— У вас репетиция, а у нас спектакль, — проворчала Муся, наполняя рюмки. А пока она наливала да нарезала невесть откуда возникший лимон, в дверях появился странный человечек. Маленького роста, подозрительно похожий на домового Константина, только без бороды. Но с такими же колючими глазками и в точно такой же зимней шапке.

— Вызывали? — спросил человечек и почесался.

— Это наш Миша, — представила человечка Муся и тут же спросила:

— Васильев Олег Петрович — знаешь такого?

— Как не знать? — ответил Миша и снова почесался. — Улица Ленина, дом семьдесят четыре, квартира девять. К ним раньше Константин был приставлен, но начальство

решило, что не нужно. Чтоб голая реальность потому что.

— Это у них пусть будет голая, а у нас в штанах, — засмеялась Муся и подняла рюмку.

— Ну, Петрович, за людей, которые умеют эту самую реальность создавать.

Васильев тоже поднял свою рюмашку, выпил и зажевал лимончиком. Коньяк был хороший.

А Муся тут же налила по второй и поставила почёсывающемуся Мише задачу:

— Короче, Миша. Обслужишь клиента по высшему.

— Есть! — по-военному рявкнул Миша и исчез.

— Вот так вот, Олег, — снова подняла рюмку Муся. — Будешь человеком — и с тобой будут по-человечески. А говном будешь — так не обижайся. С тебя полтишок. Будет сдача, верну.

Васильев суетливо выпил, отсчитал пятьдесят рублей и вышел на волю.

ГЛАВА 9

Вот оно, оказывается, как просто! — думал Васильев, идя по раздолбанному тротуару. — Нужно всего-навсего человеком быть. И всё. И вся житейская премудрость. Как это мне раньше в голову не приходило? Впрочем, как всё это прийти могло, когда я бытомото никогда не занимался. Всё жена. А я как человек творческий, так сказать, самоустранился.

Васильев вспомнил о жене, оставленной в Нью-Йорке, и устыдился. И так вот, угрызаясь, дошёл потихоньку до музучилища, в зале которого была назначена репетиция.

Когда Васильев приоткрыл осторожно дверь в зал и в образовавшуюся щель просунул голову, он увидел, что опоздал безнадежно. Приглашённые на первую репетицию уже сидели с отпечатками пристального внимания на лицах, а по помещению раскатывался командирский голос Иосифа Адамовича Морока. Иосиф Адамович до того, как был назначен заводделом агитации и пропаганды Горкома, командовал политотделом авиаполка, и очень этим гордился.

— Значит так, товарищи! — вещал Иосиф Адамович. — Партия доверяет вам организацию и проведение ответственного мероприятия. Юбилей со дня смерти Великого Поэта — это вам не танцульки какие-нибудь. Тут надо со всей ответственностью и засучив рукава. Чтобы не было потом мучительно, так сказать, больно. Мы, доверив вам, товарищи, это мероприятие, уверены, что вы мобилизуете не только все ваши силы, но и, я не побоюсь сказать, резервы.

Васильев приоткрыл дверь ещё немного и протиснулся, вернее, протёк в зал. И в этом перетекании он напоминал слизняка. А оказавшись в зале, Васильев пригнулся, вжал голову в плечи и на цыпочках поскакал к стульям. Всем своим существом демонстрировал Васильев, что не хочет нарушать священную и, безусловно, рабочую атмосферу репетиции. Только старался он зря. Острый глаз Иосифа Адамовича уже узрел нарушителя дисциплины.

— Вот, товарищи, как происходит, — резюмировал Иосиф Адамович. — Мы тут с вами, не жалея сил, так сказать, а артист Васильев позволяет себе приходить когда захочет. Вы что же это такое себе позволяете, товарищ Васильев?

— Да я вот... Как-то... Сами понимаете... — мямлил Васильев, а сам думал, — что за фигня происходит? Если времени у них нет, то как я мог опоздать?

А Иосиф Адамович не унимался:

— Елена Михайловна! — обратился он к Кудрик, которая отвечала за художественную часть, — что у нас поручено Олегу Петровичу?

Елена Михайловна деловито порылась в папочке, лежавшей у неё на коленях:

— Олег Петрович читает у нас “Пророка”.

— Ага! — обрадовался Иосиф Адамович. — Он у нас “Пророка” читает, а сам себе позволяет опаздывать. Вы уж, Елена Михайловна, поработайте с ним как следует, чтоб осознал подтексты, так сказать, и великий смысл. А я, при случае, тоже поработаю.

— Попал, блин! — сказал сам себе Васильев и уселся наконец-то в спасительное кресло.

Оказавшийся по соседству Владлен Гаврилович Щепотько, вместо того чтобы поздороваться, начал так сосредоточенно внимать Иосифу Адамовичу, что даже человеку случайному стало бы понятно: вот как осознаёт серьёзность происходящего Владлен Гаврилович. А пока Владлен Гаврилович старался, Иосиф Адамович захлопнул красную папку, в которой лежали загадочные для непосвящённого бумаги, и с достоинством удалился.

Он удалился, но место на трибуне тут же оказалось занято. Там уже стояла вдохновенная и серьёзная Елена Михайловна и сосредоточенно перебирала бумаги. Правда, бумаги у неё были не в красной папке, а в зелёной, и не в кожаной, а в дерматиновой. Но это вовсе не умаляло важность и ответственность момента.

— Товарищи! — произнесла Елена Михайловна и окинула зал пристально, — кратенько прочитаю вам сценарный план.

Елена Михайловна снова уставилась в бумажку из зелёной папки и замерла. Так замирает петух, найдя зерно. То одним, то другим глазом рассматривает он драгоценную находку, сам себе не веря, что счастье всё-таки привалило. Вот так и Елена Михайловна одухотворённо и наполненно рассматривала свой же сценарный план, утверждённый уже во всех положенных инстанциях.

Она так долго держала паузу, что Васильев не выдержал:

— Она что там? Букву знакомую ищет? — прошептал Васильев, немного наклонившись к Щепотько.

Но Владлен Гаврилович Васильева не только не поддержал, но, наоборот, прошептал свистящим шёпотом на весь зал:

— Прекратите ёрничать! И не делайте вид, что не понимаете ответственности этого мероприятия!

После этой тирады Владлен Гаврилович демонстративно отвернулся от Васильева, всем своим видом показывая, что ничего общего у него с этим отщепенцем Васильевым не было, нет и быть не может.

Васильев покрутил головой, оглядывая зал в поисках моральной опоры. Но сочувствия в коллегам не нашёл. Все сидели с каменными лицами. Один Добежанский понимающе улыбался.

Тем временем Елена Михайловна разобралась в своих таинственных записях и, обведя взглядом зал, сообщила:

— Значит так, товарищи. За постановочную часть ответственен товарищ Добежанский. Костюмы и реквизит, если таковой понадобится, возложены на товарища Таранькину. Портрет Великого Поэта нам обещал нарисовать товарищ Дукст. Сценарная работа и режиссура возложены на меня. Может, я и не нравлюсь кое-кому, — и Елена Михайловна выразительно посмотрела на Васильева, — но прошу любить и жаловать. Значит, так. Если руководители коллективов ансамбля скрипачей, духового оркестра и оркестра аккордеонистов считают, что им нужна репетиция на сцене, то сразу же после небольшого перерыва они могут начинать.

После этого я лично поработаю с товарищем Васильевым. Ему доверено очень ответственное стихотворение и, сами понимаете, это должно быть прочитано на соответствующей высоте.

Помогать мне в моей работе будет талантливейший мастер поэтического слова, я не побоюсь сказать — наша гордость, Соломон Сергеевич Канарейкин.

Соломон Сергеевич приподнялся, обозначая своё присутствие, и театрально, но с чувством собственного достоинства, поклонился.

Человек способен признаться в чём угодно: в собственной беспомощности, в непомерном аппетите, в склонности к выпивке, в совершении преступления — и в любви. Но вряд ли вы отыщете человека, который признается, что ни фигя не понимает в искусстве.

В доисторические времена неандертальский вождь, войдя в пещеру, разрисованную местными талантами, окидывал строгим взором все эти наскальные шедевры и,

одобрительно урча, поднимал вверх большой палец руки.

— Шедевр! — тут же подхватывало стадо. И художников начинали усиленно кормить и называть классиками.

Правда, иногда вождь недовольно покачивал головой. И тогда незадачливых мазилок от искусства попросту съедали.

Это ж надо! Сколько лет прошло, а традиции сохранились.

Хотя, после Никиты Сергеича, вожди уже оценками не занимаются. Не опускаются, так сказать. Для этого есть публика попроще. Критики всех мастей и разные другие специалисты.

Вот такими специалистами из категории “разных других” и были в Городе Елена Михайловна и Соломон Сергеевич. И к мнению их прислушивались не только простые смертные, но и там, наверху. А это, сами понимаете, налагает... так сказать... ответственность за судьбы русского искусства.

Так вот. Как только Соломон Сергеевич кивнул лысеющей головой участникам репетиции, так сразу же Елена Михайловна объявила перерыв.

Васильев вышел на улицу. Там кучковались временно выпущенные на волю участники репетиции. Причём отдельными группками стояли духовики и аккордеонисты. Между ними прогуливался Добежалов. Увидев Васильева, он обрадовался, но, похоже, больше Добежалова обрадовался неутомимый Яша Коган. Он схватил Васильева за рукав и забормотал:

— Господи! Вот, наконец-то, нормальный человек попался. Образованный. Не то что эти лабухи и поцы. Вот скажите, Олег Петрович?.. Тут вопрос возник, так я могу его задать?

— Задавай, — неосторожно сказал Васильев и тут же спохватился, увидев, что Добежалов жестикулирует за Яшиной спиной. Но было поздно.

— Вот, скажите мне, Олег, как культурный человек, — начал Яша и вцепился в васильевский пиджак мёртвой хваткой. — Вот, скажите мне, куда они в туалет ходили?

— Кто? — недоуменно спросил Васильев.

— Как кто? — Обрадовался Яша. — Дворяне эти. Пушкинские. Балы-шмалы, ля, ля-тру-ля-ля, это понятно. Непонятно, где у них туалет был. Вот вы в Михайловском были? И я был. Вы там туалет видели? И я не видел. А дамские платья ихние на картинках видели? А если видели, Олег, скажите мне: мыслимое ли дело — задрать подол такого платья и не описать потом его в процессе, так сказать? Правильно. В одиночку задрать подол невозможно. Так же как и не описать невозможно. Ну ладно. В деревне — это я понимаю. В кусты можно сходить или в домик типа сортир. А в городе? Нет, Олег! Вы скажите мне, куда в городе сходить, если на балу пара сотен людей и все хочут?

Васильев затосковал было, но Добежалов пришёл на выручку:

— А пошёл бы ты, Яша, поспать. Там, заодно, и найдёшь ответы на поставленные вопросы.

— Вы жлоб, Добежалов! — обиделся Яша. — Мыслящий человек вам не пара, потому что вы жлоб и шлимазл.

И Яша отошёл с гордо вздёрнутой головой.

— Спасибо, Игорь! — улыбнулся Васильев. — Ты настоящий друг.

Покурили, помолчали. И Васильев неожиданно спросил:

— А действительно, как же они с этими делами управлялись?

— Ты, блин, думай лучше, как из нежных лап Елены Михайловны живым вывернуться, — посоветовал Добежалов. — А то перекур уже заканчивается. Ну ладно. Придумаю что-нибудь. Чего только не сделаешь для спасения товарища, а по выходным друга и собутыльника?

Добежалов пошёл к аккордеонистам, а Васильев в зал.

Там уже сидели в полной боевой готовности Елена Михайловна и Соломон Сергеевич. Елена Михайловна сосредоточенно выискивала нечто в своей заветной папочке, а Соломон Сергеевич восседал рядом. И столько брезгливости, презрения и ненависти к штукарям от искусства было на лице Соломона Сергеевича, что, казалось, дай ему

маузер — он тут же перестрелял бы этих дилетантов и извращенцев от искусства. И рука бы у него не дрогнула.

Васильев тоже с нескрываемой брезгливостью поднялся на сцену, выдержал паузу и произнёс значительно:

— Александр Сергеевич Пушкин. “Пророк”.

— Стоп, — рявкнула Елена Михайловна. — Вы, Олег Петрович, выходите на сцену, прямо скажу, какой-то несобранный. Вот как-то не чувствуется, что Вы сейчас будете читать великие строки.

Васильев понимающе кивнул и ушёл в кулису. Там он потоптался немного и только потом торжественно выплыл на сцену. При этом Васильев был так наполнен чувством ответственности, что боялся это чувство расплескать.

— Александр Сергеевич Пушкин, — провозгласил Васильев. Потом выдержал паузу и добавил:

— “Пророк”.

После этого Васильев снова взял паузу. Только более продолжительную и эффектную, чем в первый раз. И только потом начал читать:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился...

— Стоп! — закричала Елена Михайловна. — Олег Петрович! Дорогой! Я не вижу мрачной пустыни. Как-то пропадает у Вас такой эффектный образ. И жажды не чувствуется...

— Нет проблем, — согласился Васильев. — Будет жажда.

И Васильев начал сначала. Произнося первую строку, он сделал такое изнурённое лицо и так мучительно проглотил слюну, что каждому должно было быть понятно — вот человек, умирающий от жажды.

— Хорошо! — одобрила Елена Михайловна.

— А я не верю, — вмешался Канарейкин. — Это жажда пива, а не духовная жажда.

Духовная жажда — это нечто высокое.

И Соломон Сергеич собрался было сам изобразить духовную жажду, но тут на сцену начал выплывать оркестр аккордеонистов. Музыканты строго и молча выходили из кулисы, держа в одной руке стул, а во второй пюпитр. Аккордеоны уже были пристёгнуты к груди ремнями.

— Что это? Как такое? Кто позволил? — разъярилась Елена Михайловна.

— Спокойно! Только без драки, пожалуйста! — охладил её пыл руководитель оркестра Ходулин. Во-первых, мы по графику, вами же, Елена Михайловна, составленному. А во-вторых, у нас концерт в подшефном колхозе, и автобус уже пришёл. Когда же, позвольте вас спросить, нам сцену попробовать?

— Это полное безобразие, а не творческий процесс! Я буду ставить вопрос, — взвился было Соломон Сергеевич, но практичная Елена Михайловна его тактично осадила:

— Что тут поделаешь, Соломон Сергеевич, — товарищи в графике. — И тут же испортила Васильеву настроение окончательно:

— С Вами, Олег Петрович, мы ещё поработаем. Я прошу Вас явиться за час до начала. И мы непременно найдём уголок для уединения.

— А дома, Олег Петрович, вы непременно задумайтесь над пророческой ролью Поэта, над его великой миссией, так сказать, — вставил Соломон Сергеевич свои пять копеек. И вид у него при этом был такой грозный и величавый, что если у кого-то и были сомнения насчёт пророческой роли и миссии, то теперь эти сомнения развеялись как дым.

Васильев скривился, но, скривившись, покорно кивнул головой и вышел в фойе. Там уже гулял довольный Добежалов.

— Вот какие чудеса творит натуральный обмен! — изрёк Добежалов.

Васильев не понял:

— Какой обмен, Игорь? Что на что и когда?

— Экой ты... — улыбнулся Добежалов, — наивный. Я дал Ходулину на водку, чтобы он порепетировал со своими орлами. Вот и получается, что я выменял твою драгоценную

свободу на банальную бутылку.

Вышли на улицу. Похоже было, что прошёл краткий дождь. Пахло свежестью, и на асфальте лежали мутные зеркала луж. В одну из них Васильев ступил, задумавшись. А когда отmaterился и вытер грязь с ботинка клоком травы, сорванной с газона, то спросил сам у себя:

— И какого хрена они в этом “Пророке” нашли? Банальный стишок. Если я правильно помню, даже перевод откуда-то.

— Э-э-э-э, братец! — подхватил тему Добежалов, — тут ты в корне не прав. Мелко берёшь. А ты глубже копай! Глубже. Стих этот для Пушкина в самом деле этапный. По Александру Сергеевичу так государственная машина прокатилась, что ему стало не до романтики. Ведь сразу после “Пророка” он напишет:

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

— А потом? — спросил Васильев.

— А потом... Что потом? — задумался Добежалов. — Потом было всё как положено. Но весь остаток жизни преследовал Пушкина Медный всадник с грозно протянутой рукой.

— Это уж... Да, — загрустил Васильев, но тут же грустить перестал, потому что стояли друзья уже у входа в единственный в Городе пивной бар.

ГЛАВА 10

Васильев толкнул тяжёлую дверь, вошёл вовнутрь и тут же остановился. Остановился, потому что попал он явно не туда, куда хотел. В задымленном зале вместо привычных “стояков” стояли столы, вокруг которых и сидели, и стояли мужики. У дверей на полу устроился инвалид в бескозырке — играл на гармонии и пел жалостливо:

Ой, товарищи! Расскажу я вам,

Этот случай был в прошлом году:

Зверь-отец убил дочку родную —

Я про это вам песню спою...

Васильев постоял-постоял — и вышел на улицу.

— Что-то тут не то, Игорёк, — задумчиво сказал Васильев, — что-то не так...

— Ты просто забыл, Олежка, что пивбар не тут, — пояснил Добежалов. — Здесь сейчас столовая “Берёзка”, а пивбар на Солнечной, нынешняя Горького, где раньше булочная была.

— Точно! — обрадовался Васильев.

И тотчас же вспомнил эту булочную. Там надо было сначала выстоять очередь и только потом получить фунт тёплого ещё хлеба. Тёплого — потому что он просто не успевал остыть. И самое интересное было в том, что фунт редко отвешивали одним куском. Обычно получался и небольшой ломоток, который назывался довесок. И этот довесок можно было съесть по дороге к дому. И это тоже было радостно.

И вот с таким ощущением, что радость всё-таки была, да позабылась, вошёл Васильев в городской пивбар, где плавали клубы дыма, вонь прокисшего пива и мочи. Васильев встал к стойке, чтобы место занять, а Добежалов в очередь за пивом. Очередь была совсем небольшая. Не то что в конце дня, когда мужики после работы позволяют себе оттяжку. Так что Васильев даже не успел толком перекурить, как Добежалов уже пришёл с четырьмя поллитровыми кружками и тарелкой, на которой в окружении луковых колечек красовались несколько кусков нечищенной сельди иваси.

— За свободу! — улыбнулся Добежалов и приподнял свою кружку.

— За свободу, — согласился Васильев и тоже к кружке приложился.

А когда отпили немного, Добежалов достал бутылку водки и соорудил ерша.

— Не круто будет? — обеспокоился Васильев. Но Добежалов утешил:

— По системе Станиславского положено, чтобы нервную систему в порядок привести. И друзья глотнули за здоровую нервную систему.

— Что-то не так, Игорь, — сказал Васильев после того, как зажевали селёдкой. — Не понимаю, но чую, что что-то не так.

— Слушай, Олег! — задумался Добежалов, — а ты уверен, что находишься в реальном Городе?

Васильев подумал, глотнул ещё ершика и признался:

— Нет. Не уверен. Слишком тут много такого, чего быть не может, потому что быть не может никогда. Но, с другой стороны, где-то же я есть?

— Где-то есть, — согласился Добежалов.

— И вот из этого самого *где-то* я вырваться не могу. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Добежалов шёпотом.

— Ты пойми, — тоже зашептал Васильев, — я никогда в этой сраной эмиграции не пил столько, сколько здесь пью. И что страшно и странно, это мне нравится всё больше и больше. И избавиться от этого я тоже не могу.

— А ты пробовал? — усомнился Добежалов.

— Что пробовал? — собрался обидеться Васильев.

— Избавиться пробовал?

— Нет! — признался Васильев. — Не пробовал, но твёрдо знаю, что ничего не выйдет.

— Тогда да, — согласился Добежалов. — Тогда конечно... Что уж тогда?..

И Добежалов ещё плеснул водочки в пивко, чтобы нить разговора не терялась. Плеснул и тут же отвлёкся:

— Олег! Хочешь, я тебя с настоящим пророком познакомлю? Шутка шуткой, но чем чёрт не шутит? Может, он и вправду что-то знает?

— А что? Действительно. — Васильев внимательно присмотрелся к любителям пива.

— Только не спеши. Я хочу сам угадать этого пророка.

— Давай! — согласился Добежалов, и Олег Петрович начал угадывать. И через минуту-другую нашёл подходящую кандидатуру. На полу неподалёку от двери в туалет сидел мужик в рваном ватнике. Волосы на голове этого мужика стояли принципиально дыбом, отчего он напоминал не то Бетховена, не то Эйнштейна. И это странное поведение волос, по мнению Васильева, и было несомненным признаком гениальности.

— Вот он, Игорёк! — показал Васильев на эту радость парикмахера. — Этот самый фактурный. Этот как раз то, что надо.

— Согласен, — кивнул Добежалов. И крикнул в другой конец зала:

— Фима! Подойди!

— Пить сегодня, парни, много не могу, — повинился Фима, подойдя. — Только что из дурки. Ещё не отошёл.

Васильев с удивлением смотрел на Фиму. Потому что был этот Фима типичным мальчиком из хорошей семьи. Белая рубашечка, галстучек, очки в роговой оправе, смущённая улыбка.

— А мы много и не дадим, — утешил Фиму Добежалов. — Нам самим мало. Тут вот какая штука. Вот у Олега ощущение, что он не может от Города избавиться...

— Какое ощущение, блин? — перебил Васильев. — Тут полный дурдом. Я уезжаю, а вместо этого оказываюсь в “конторе” на допросе. Черти, домовые — и вообще...

— Пуповину надо рвать, — забормотал Фима и закатил глаза. — Рви пуповину, иначе никак. Иначе ребёнок не родится....

— Ты, Фима, остынь. Ты не горячись так. Не убивайся, — налил Добежалов Фиме. Тот выпил, выдохнул воздух, пожевал губами и пришёл в себя.

— А ты не горюй, — сказал Фима Васильеву. — Будешь человеком, всё само собой утрясётся.

И пошёл к своему стояку.

Правда, отойдя немного, обернулся и крикнул:

— И вовсе не дурдом, а дургород!

Васильев помолчал немного, а потом хлебнул ершика и спросил Добежалова:

— Как это — рвать? Какую пуповину? И кому, главное?

Добежалов только пожал плечами.

А Васильев завёлся:

— Я вот сейчас спрошу этого вашего “пророка”. Я строго спрошу, если на то пошло. Что же это за пророчество? Это хуже прогноза погоды!

— Спроси, если так уж загорелось, — равнодушно ответил Добежалов и занялся куском селёдки, которая норовила выпрыгнуть из тарелки. — Только, думаю, лучше не будет.

— Это почему же не будет? Я имею полное право спросить.

— Конечно, имеешь, — обрадовался Добежалов. Он как раз исхитрился наколоть на вилку упрямый деликатес. — Только понятней тебе не будет. Чем больше вопросов, тем меньше понимания. Закон Архимеда.

— Какого это Архимеда? — опять не догнал Васильев. — Это у которого штаны на все стороны равны?

— Ну не хочешь Архимеда, тогда пусть будет Бойля-Мариотта.

— Смейся, паяц! — съехидничал Васильев. Отпил ещё из кружки и глубоко вздохнул, приподняв плечи. — Ты смейся, иронизируй, а я пошёл рожать истину, которая только в споре.

Васильев оторвался от стойки и почувствовал, что пьян он более, чем ожидал.

Пришлось собраться, выпрямить спину. И только потом на странно негнущихся ногах двинуться на поиски истины.

Но Васильев, несмотря ни на что, добрёл до загадочного Фимы. И Фима оказался не таким уж и загадочным, как думалось Васильеву вначале. Фима этот двумя руками держал лапищу здорового мужика, просяще заглядывал этому мужику в глаза и заискивающе щебетал.

Господи! — ужаснулся Васильев. — И тут от голубых деться некуда! Ладно уж — Нью-Йорк. Там понятно и естественно. Но тут!

Правда, Васильев тут же спохватился:

— А не один ли мне хрен? Кто я им такой, чтобы указывать, как жопу использовать?

Родив такую ценную мысль, Васильев собрался внутренне и выдал:

— Простите, Фима, но я хотел бы... Это... вот... как бы...

И пока Васильев формулировал, Фимин бойфренд протянул огромную лапищу и схватил Васильева за лацкан пиджака:

— Тебе, мужик, чего, короче? В рог хочешь?

— Нет. Не хочу, — заявил Васильев, пытаюсь освободиться. — Я просто хотел кое-что уточнить у товарища Пророка.

— Не понял. Кто тут из нас тебе товарищ Пророков?

— Это я, Иванушка. Это я, — признался Фима и великодушно разрешил:

— А вы спрашивайте, не бойтесь. Это Иванушка. Он только кажется таким. А на самом деле он не такой.

— Пророк, блин? — удивился Фимин жлоб и выпустил васильевский лацкан на волю.

— Это обосраться и не жить! Фимка — пророк. Писец всему, короче!

Васильев встряхнулся, как воробей, купающийся в луже:

— Вот, Фима! Вы говорили, что пуповину рвать и прочее... А как это — рвать? И, главное, кому?

— Себе, противный, себе, — заворковал Фима и снова уставился в лицо партнёра. — Ты что, думаешь, в настоящем Городе живёшь? Ты в ностальгии своей живёшь. И освободишься, как только лопнут те провода, что тебя с этим Городом связывают.

— Как это — в ностальгии? — растерялся Васильев. — Вы, товарищ пророк, хотите сказать, что я всё вот это выдумал?

— Хочу, — признался Фима.

— А если я ещё чего такого выдумую? — завёлся Васильев. — Вот... Вот возьму сейчас и выдумую, что въезжаю я в Город как победитель, на белом коне! Что тогда? Ох, зря это Васильев так разошёлся. Ох, напрасно. Потому что, как только он загнул про белого коня, так тут же оказался на спине этого коня. Спина у коня оказалась

широкой, как диван, и Васильеву пришлось раскорячиться по самое как не надо. И Васильев не только раскорячился, но и вцепился двумя руками в гриву этого животного. А конь начал себя вести как скотина. Присев на задние ноги, он стукнул правой передней в грудь Фиминому хахалю. А потом, выложив на пол солидную кучу пахучих конских каштанов, направился к выходу.

— Петрович! Скажи этому коню! — закричал Добежалов.

— Что я ему скажу, когда он по-русски не понимает? — захрипел в ответ Васильев.

— Кто не понимает? Это я не понимаю? — повернул голову конь и заржал. — Я на всех языках понимаю, включая суахили. И это благодаря тому, что трепетно и с должным уважением отношусь к высокому искусству.

Васильеву стало очень не по себе. Потому что у этого образованного коня было лицо Соломона Сергеевича Канарейкина.

Васильев собрался было спросить у Соломона Сергеевича, как это он стал таким благородным животным, но не успел. Конь уже выбил витринное стекло и оказался на улице.

И тут же грянули оркестры!

Васильев приподнял голову. Прямо перед ним кастрированной египетской пирамидой высился Мавзолей, на трибуне которого среди незнакомых Васильеву людей стоял товарищ Сталин и делал Васильеву ручкой.

Потрясённый увиденным, Васильев сделал неимоверное усилие и обернулся. Позади него простирались бескрайние солдатские ряды. Моросил дождь, и солдаты были строги и угрюмы.

— Ты куда это завёз? — зашептал Васильев Соломону Сергеевичу в волосатое ухо. — Ты чокнулся — или как? Ну прям не конь, а козёл.

— Куда надо, туда и завёз, — огрызнулся Соломон Сергеевич. — Сам же хотел, чтоб на белом коне.

— Это же Парад Победы, остолоп! — уже не зашептал, а закричал Васильев. — Я так не играю.

— Экие мы капризные! — огорчился конь и лязгнул копытом по брусчатке. Из-под копыта вырвался фейерверочный сноп искр, и Красная площадь сменилась городской площадью им. В. И. Ленина. Васильев, увидев знакомые места, воспрял духом. На площади вдоль мрачного куба Дома культуры в две шеренги стояли не менее мрачные горожане.

— Здравствуйте, товарищи горожане! — прокричал Васильев.

Шеренга настороженно молчала.

— Поздравляю вас с моим возвращением! — продолжал Васильев надрыватьсья.

Шеренга молчала. Потом послышался голос из второго ряда:

— Так это артист Васильев! То-то я смотрю, что мудак на коне сидеть не умеет.

Тут конь Соломон Сергеевич встал на дыбы, и Васильев, как ни цеплялся за гриву, всё же соскользнул на землю.

Горько было и гнусно. Васильев на четвереньках подошёл к памятнику Ленину и уселся на гранитной ступеньке. Шеренга встречающих уже исчезла. Только странный конь гарцевал по площади. Сделав два круга, он образовал из спины два крыла, взмахнул этими крылами и Пегасом поднялся в облака.

А Васильев сидел на ступеньке и горько плакал.

Потом к нему подошла собака непонятной породы, лизнула лицо горячим языком и сказала:

— Что ж ты плачешь, миленький? Мы с тобой скоро мальчика родим, а ты плачешь.

ГЛАВА 11

Васильев зарыдал и проснулся от этих рыданий. Проснулся, и когда сообразил, что он не на площади имени Вождя, а в своей кровати, то обрадовался. Только напрасно он это делал. Потому что нависала над ним пахучей плотью Валентина из кулинарии. И из

всей одежды была на этой Валентине одна кружевная наколка на голове.

— А вот, золотой ты мой, мы сейчас пивка, — сладко запела Валентина, протягивая Васильеву банку чешского пива. — Мы пивка глотнём, и всё у нас пройдёт, как и не было.

Валентина щебетала и умилялась, как старая дева над коляской с чужим ребёнком.

— Как вы тут? — прохрипел Васильев, но банку с пивом взял. — Кто вы?

Ну это Васильев лукавил, скажем откровенно. Потому что прекрасно он узнал вчерашнюю кулинарную работницу Валентину. А вот почему он её не признал — пусть это лежит на васильевской совести мрачным чернильным пятном, или, того хуже, тяжким грузом.

— Где я? — продолжал хитрить Васильев и играть наивняка.

— Дома, котик! — просюсюкала Валентина. — В своей постельке. Не надо бояться, миленький, — я тебя в обиду не дам.

— А вы, собственно... — усомнился Васильев в правомочности присутствия этой случайной знакомой в своей квартире. — Да... собственно... как вы тут оказались?

— Очень просто, — вздохнула Валентина и начала одеваться. — Иду с работы — смотрю, у подъезда мужичок валяется. Вроде ничейный. Присмотрелась — это же утренний клиент! Не могла же я тебя на асфальте бросить, как окурочка какой? Ключи у тебя в кармане были. Вот принесла. Уложила. Ох и страстный же ты мужчина! — Валентина почмокала губами, изображая восхищение. — Раньше я думала, такие только в кино бывают.

— Какая страсть! — возмутился Васильев, — у меня даже обувь не снята... И носки тоже.

— Глупый! — ненатурально восхитилась Валентина. — Это дело не ногами делают. Можно носки и не снимать. Это дело вполне и в валенках можно.

Потом Валентина обулась и посерьёзнула:

— Сейчас, маленький, я на работу пойду. А завтра мы с тобой в ЗАГС двинем заявление подавать. Так что собирайся с духом. Я уже отгул взяла.

Васильев остолбенел. Но довольно быстро пришёл в себя:

— В какой это такой ЗАГС, интересно мне? Я что, предложение вам делал? И ваще — я женат. Причём дважды.

Валентина только рассмеялась:

— Как же! Дождёшься от вас, кобелюк, предложения! Вас надо хватать за яйца и в ЗАГС волочь, пока не опомнились. А что ты думал, донжуан хренов? Попользовался девушкой — и в кусты? Не-е-ет! Не на такую напал. А насчёт жён своих — не надо сказок. У меня в руках документ. Называется паспорт. Понял? А там нет ни одной отметочки о законном браке.

Валентина достала из сумочки васильевский паспорт и торжествующе потрясла им. Только зря это она делала. Потому что из стенки высунулась косматая лапа, схватила паспорт и снова исчезла в стене.

— Константин! — радостно ёкнуло у Васильева внутри.

А Валентина растерянно осматривалась вокруг себя. Ей казалось, что она уронила на пол такой важный для неё документ. Но паспорт как будто испарился. Тогда Валентина так строго и беспощадно посмотрела на Васильева, что он понял: вот это и есть его последние минуты жизни на этой грешной земле.

— Где? — коротко и хрипло спросила Валентина. И подойдя к Васильеву поближе, добавила:

— Куда дел, фокусник херов? Я же тебя, стручок, вот этими руками задавлю, если не скажешь.

Васильев покрылся холодным потом, но Константина не выдал.

— Ты сообрази, падла, — продолжила Валентина, — ты сообрази, что выхода у тебя нету. Я же с родителями живу. У нас в двухкомнатной квартире четыре семьи. Ты понял, женишок? Не понял? Счас поймёшь!

И Валентина размахнулась.

— Это всё! — промелькнуло в голове у Васильева. — Это пиздец!

Васильев закрыл глаза и стал ждать неминуемую плюху. Но вместо плюхи раздалось мелодичное:

— Уйди, сучка! А то глаза выцарапаю!

Рядом с Валентиной стояла на задних лапах чёрная пантера и замахивалась на невезучую невесту правой передней.

Валентина охнула, подхватила сумочку и выбежала, на ходу обещая написать куда следует.

— Закури, женишок. Очухайся, — кошка Милка протянула Васильеву пачку сигарет.

— Спасибо, — пробормотал Васильев. Сел на край кровати и вынул трясущимися руками сигарету.

Милка щёлкнула зажигалкой и дала Васильеву огоньку.

— Службу несём, рядовая Милашкина? — съехидничал Васильев, затаившись. — А где же сержант Константинов?

— Тутока я. Где мне быть? — Константин вышел из стенки и уселся в кресло. — Мы это не по службе, а по дружбе, так сказать. Ты же пирожные покупал.

— Заботился иногда, — добавила Милка, которая уже стала обычной кошкой.

— Мы вот... — бормотал Константин. — И мебелишку, значит, вернули... и прочее имущество. Потому что по-человечески... А как же?

— Спасибо, братцы, — расчувствовался Васильев. — Сейчас сижу и думаю, что за всю жизнь ко мне никто и никогда по-человечески не относился. Все как-то...

И Васильеву снова захотелось заплакать. Но он сдержался.

— Ладно уж, Петрович, не горюй, — по-своему поняла Милка васильевскую чувствительность. — Эту Валентину тоже понять можно. На раскладушке в кухне спит. Никакой половой жизни, не говоря уже о любви. Тут кто хочешь озверееет.

А Константин добавил:

— Ты это, Петрович, того... Там на кухне коньяк есть. Мишка вчера принёс. И закусить конкретно. Только ты не напивайся очень с утра. А то вечно...

Васильев подумал, сказал, что очень не напьётся, и пошёл в кухню. Там он дрожащей рукой налил рюмку коньяку, выпил, закусил колбаской и начал оживать:

— А вот объясните мне, други мои...

— Нет, Петрович, и не проси! — встрял нахальный Константин. — Мы бы и рады объяснить, да ты не поймёшь.

— Да, — мякнула Милка.

Она уже стала обычной кошкой и тёрлась мордочкой о ноги Васильева.

— Вы что? За дебила меня держите, что ли? — возмутился Васильев. — Это значит, вы считаете, что необразованный домовый из-за печки понимает то, что специалист с высшим образованием понять не в силах?

Тут Васильев даже загордился сам собой и приосанился.

— Образование тут ока ни при чём, — начал разглагольствовать Константин.

Образование — это, к примеру, когда ничего не было, а потом — раз — и образовалось. А в твоём случае, Петрович, образование штука бесполезная, потому что только мешает.

— Вот взял бы и подумал, — вставилась Милка, — а почему это ты из Города уехать не можешь?

— А почему? — как-то тупо спросил Васильев.

— А потому, — доходчиво объяснила Милка.

И Константин продолжил:

— Это, типа, от себя не уйдёшь.

Васильев покурив, аккуратно загасил окурочек в пепельнице и осторожненько спросил:

— Вы что это? Вы намекаете, что Город и я — это одно и то же?

— Догадливый какой! — восхитилась Милка и от восторга замурлыкала.

— Это значит... — продолжал Васильев гнуть свою линию, — это значит, что если

Город сошёл с ума, то и я не вполне... — и Васильев замысловато покрутил пальцами возле правого виска.

— А как же! — обрадовался Константин. — А как же! Сам подумай — может ли

нормальный человек с домовым разговаривать? Нормальный человек в таком случае пугаться должен и вызывать “скорую помощь” с милицией.

— Правильно, — согласился Васильев и тут же спохватился:

— А что же делать? Должен же быть какой-нибудь выход?

— Ты, Петрович, короче, вот... — разъяснил Константин. — Ты это... зачем в Город приехал? На могилки сходить? Так сходи. А то всё пьянку пьянствуешь.

— И то верно, — согласился Васильев и двинул в ванную.

И уже через полчаса, чисто выбритый и в новом галстуке, сидел Васильев в трамвае и трясся в сторону Городского коммунального кладбища.

Вагон был пуст, уютно поскрипывал на ходу, и можно было сколько угодно любоваться проплывающим в окне урбанистическим пейзажем. Вот уже остался позади корпус института, выкрашенный в непонятный цвет, вот густая тень вековых тополей сменилась ярим солнцем эстакады, вот замелькали частные домишки предместья...

Васильев вышел на пустующей остановке и пошёл по улочке под названием “Тихая”.

На ступеньках похоронного бюро, что располагалось у самых кладбищенских ворот, сидел старинный друг Васильева, гравёр мастерской по производству памятников Лев Андреевич Борщёв. Он покуривал и, не спеша, тянул пиво из горлышка бутылки.

Вот скажи ты мне, Петрович, — обратился Лев Андреевич к Васильеву, — ты когда свою бабу трахаешь? Поутру или на ночь?

— А разница есть? — улыбнулся Васильев.

— Разница огромная! — серьёзно ответил Борщёв, откупорил о деревянную ступеньку пивную бутылку и протянул эту бутылку Васильеву.

Васильев сделал пару глотков и поставил бутылку рядом с Львом Андреевичем:

— Ты подожди, Андреич! Посиди немножко, а я сейчас приду. Хочу к своим на могилку забежать.

— Это дело. Это правильно, — одобрил Борщёв и закурил.

Васильев скрипнул кованой калиткой и очутился в тени и комарах. Почему на старых кладбищах столько комаров, — это, несомненно, загадка природы, но это так, и мало кто с этим будет спорить.

Васильев начал протискиваться по узкой тропинке между могильных оградок и успел несколько раз больно обжечься крапивой, пока добрался до оградки своей. Там, за этим немудрёным сооружением, сваренным из металлических труб, стоял бетонный памятник на двоих и, как положено, столик и две скамеечки. На одной из этих скамеечек сидела мама Васильева в траурном чёрном платке.

Спасибо, Олежка, что пришёл, — сказала она, не оборачиваясь. — Сейчас посидим немного и поедем домой. Сегодня же сороковины. Надо помянуть по-человечески.

Шура там уже накрыла всё, наверное.

— Боже мой! — ужаснулся Васильев, — неужели она не видит своей фотографии на памятнике?

Васильев достал из кустиков, посаженных по периметру, ведёрко, принёс воды, полил цветы в нагробниках и только потом сказал:

— Конечно, мама, я приду. Я обязательно приду.

— Вот и хорошо, — улыбнулась мама. — Я поеду домой, а то уже соседи, наверное, собрались.

Она поднялась со скамеечки, одёрнула платье и поплыла, пронизав насквозь массивный памятник чёрного гранита с надписью: “Ивану Филипповичу Странного, корнету 114-го гвардейского полка. Спи спокойно, наш дорогой”.

Васильев посидел немного, покурив и, поймав себя на мысли, что скорби он не испытывает, пошёл к выходу. В этот раз он пошёл другой дорогой и остался доволен, потому что здесь не было крапивы.

Лев Андреевич сидел всё там же, наслаждаясь тёплым бутылочным пивом. Васильев только присел рядом, как Борщёв продолжил начатую тему:

— И все-таки, Олег, когда ты жену трахаешь? Утром или вечером?

Васильев замялся:

— На ночь, как и все люди. Да это не так уж и важно...

— Ой, как важно, Олежек. Ой, как важно, — не согласился Лев Андреевич. — От этого твоя нервная система страдает. Ты её на ночь трахнул — заспит, засыт, утром встанет — как тигра ходячая. А если ты её с утра приласкал — весь день будет радостная бегать.

Лев Андреевич собрался было развить эту тему, да из дверей похоронки выбежали две девицы в трауре.

— Наташка! — завизжала одна из них, — какая же ты счастливая! Квартира, машина, дача — всё твоё! И вдобавок профсоюз похороны оплатил!

— Да уж! — гордо подтвердила вторая, и они, скорбя и поддерживая друг друга, пошли к остановке трамвая.

— Видишь, Олежка. У каждого своё счастье, — начал рассуждать Борщёв. — Кому война, а кому и мать родна.

Но Васильев перебил:

— Андреич! Скажи хоть ты мне — из Города можно уехать или это... А то творится хрень какая-то. Не пойму — то ли я с ума сошёл, то ли все остальные.

— Борщёв только крикнул от удовольствия — так он любил давать советы:

— Конечно, можно. А как же! Ты, Олег, к цыганам сходи. Они к месту не привязаны. Народ свободный. Они знать должны. А все эти заморочки в голову не бери. Ты сколько в Городе не был? Двадцать лет. Конечно, напридумывал себе там, в своей Америке. Что ж ты хочешь?

И снова Васильев трясся в трамвайном вагончике. И снова тупо рассматривал городские прелести. Хотелось поговорить, а поговорить было не с кем. Трамвай был пуст. И только в торце вагона двое подвыпивших мужиков выясняли, кто сколько дал на выпивку и кто при этом выпил на халяву. И так они это вкусно обсуждали, что Васильев, как только вышел из трамвая, забежал в магазинчик на углу и взял бутылку “Агдама”.

Вооружённый этой бутылкой, которую в народе называли “фаустпатрон”, он прошёл к реке и устроился в кустиках лозняка на дамбе.

Васильев зубами сорвал пластиковую пробку, выпил глоток и передёрнулся от отвращения.

— А ведь пили в молодые годы, — подумал он. — Пили. И как же хорошо шло под разговоры, под гитару, под стихи! А ведь “чернила” эти хуже не стали. Это я стал хуже. Вот подумал так Васильев и пригорюнился, глядя на бакен, что покачивался в мутной воде.

И только он успел разгореваться как следует, как на колени Васильеву упал скелетик тополиного листа. Ажурная конструкция прожилок. Тело листа, видимо, давно сгнило, а вот эта арматура осталась.

Васильев взял лист за охристый хвостик, и тут же он покрылся слоем прозрачного льда, и наступила зима. И влюблённый Васильев стоял в этой зиме, показывая обледеневшее кружево листа своей сокурснице Оленьке.

Оленька так умилилась этой красоте, что поцеловала Васильева мягкими губами.

И Васильев так восторженно ответил, что оба они упали в сугробик возле самой воды.

Васильев был вне себя. Его распирало и крутило. Он то воспарял, то падал. И дошёл до того, что вскочил, разделся и прыгнул в реку. Вдоль берега шла промоина метров в двадцать шириной: течение здесь было такое, что лёд не схватывался.

У Васильева перехватило дыхание от холода, и его понесло водой. Он моментально отрезвел и с ужасом подумал, что через полкилометра его просто затянет под лёд. Васильев стал выгребать к берегу, но пугающе медленно выгребать. И вышел, пошатываясь, когда до ледяного покрова оставалось совсем ничего.

Васильев бежал по ледяной кромке берега, резал ступни ледышками и благодарил Бога, что у него хватило ума раздеться. В одежде он бы не выплыл.

Он добежал до места, кое-как оделся и отпил из бутылки. Хорошо отпил. Как надо.

Ольги не было. И Васильев пошёл в общагу. Там, вылуцивая ледышки из волос, он терпеливо выстоял очередь к телефону-автомату. Трубку взял Ольгин папа и убедительно попросил Васильева больше не звонить.

— Нам в семье только сумасшедших не хватает! — сказал Ольгин отец. Васильев с ним согласился и пообещал больше с Олей не встречаться. Мрачный, поднялся Васильев в комнату. Там Матвейка с истфака делился своим богатым опытом. Они пили всё тот же поганый “Агдам”, и Матвейка поливал “за свою семейную жизнь”. Он пару месяцев назад женился на даме, которая была старше Матвейкиной мамы лет на десять. И вот теперь рассказывал, что к чему: — Какая любовь, ребята? — пухлая мордочка Матвейки скривилась. — Какая любовь? Где вы её видели, эту любовь? Мне просто удобно. Обо мне заботятся. Я имею бабу, когда захочу, а не тогда, когда она соизволит мне дать. У меня гарантированный завтрак и обед. И носки у меня чистые, между прочим. Васильев переоделся в чистое, подошёл к столу, налил сам себе полстакана “портика”, выпил и вlepил Матвейке оплеуху. Тот свалился со стула и заверещал про милицию. А Васильев не стал ожидать продолжения и ушёл. — Господи! Какой же я был придурок! — говорил сам себе Васильев, потягивая портвейн. — Боже ты мой! Мне надо было просто оттрахать эту Оленьку — и дело с концом. И никаких проблем. — Оля! Ты знаешь, что я для тебя могу сделать всё, что ты захочешь! — раздался восторженный тенорок. Васильев раздвинул прутья лозняка и удивлённо посмотрел на владельца тенорка. На берегу стояла парочка. Ну дети жалкие, что уж тут говорить! Васильев и умилиться не успел, как “тенорок” разбежался и прыгнул в реку. И сразу стало понятно, что плавать этот мальчонка не умеет, а если умеет, то в ванной. — Помогите! — пискнула девчонка. — Ванечка! Куда же ты? Ты же утонешь! Васильев вскочил и побежал вдоль берега. Там, впереди, река делала поворот, и Васильев надеялся, что мальчонку вынесет ближе к берегу. Так оно и вышло. Васильеву оставалось только зайти в воду по пояс, схватить этого Ванечку за шиворот и вытянуть на берег. На берегу Васильев врезал “герою” по морде и скомандовал: — Бегом, мать твою! А когда добежали до места, Васильев влил пацану остатки портвейна в рот и спросил у девицы: — До дома далеко? — Нет. Не очень, — пискнула она. — Тогда ноги в руки — и бегом! И они побежали. Васильев посмотрел на свои брюки, уже обледеневшие и ставшие колом, и пошёл домой. — Всё это было, — бормотал он на ходу, — всё было, и ничего нового. Нет и не будет. Стоило ему выйти на центральную улицу, как летний вечер вернулся, и, пока Васильев шаркал по асфальту, одежда почти высохла. — Ну вот! Здрасьте вам! — заворчал Константин, когда Васильев переодевался. — Опять нажрался где-то. Ну что с тобой делать, прям ума не приложу? А ведь завтра тебе работать. “Пророка” читать. — Не ссы! Прочитаю, — заверил Васильев, устраиваясь в постели. — Читать — это не писать. Так что не переживай.

ГЛАВА 12

Васильев, несмотря на все случившиеся передрыги, хорошо выспался и нисколько не удивился, что утро началось с вечера. — Флаг вам в руки и билет на ёлку! — пообещал он неведомо кому, когда заканчивал бриться. Настроение было у Васильева прекрасное и когда завтракал, и когда шёл на столь ожидаемый концерт, и даже когда столкнулся в фойе с Еленой Михайловной. — Молодец, Олег Петрович! — похвалила Васильева Елена Михайловна. — Пришли

пораньше. Я сейчас разберусь с оформлением сцены, и мы с Вами ещё разик “прогоним” стихотворение.

Васильев такой эффектной гримасой подтвердил своё желание поработать перед выступлением, что человек посторонний, глянув на его лицо, немедленно бы вызвал “неотложку”.

Но Елена Михайловна, к счастью, на Васильева не смотрела. Она смотрела в свои загадочные бумажки в папочке. А насмотревшись вдоволь, сообщила Васильеву, что его номер пойдёт сразу перед оркестром аккордеонистов. А тут как раз духовой оркестр, устроившийся в уголке фойе, начал играть “Встречный марш”, и Елена Михайловна упорхнула.

И только она исчезла, как дверь гримёрки приоткрылась и Васильева поманил пальцем Ходулин, руководитель оркестра аккордеонистов.

В гримёрке Ходулин достал из-за зеркала бутылку и два стаканчика, налил и провозгласил:

— По глоточку. Не ради пьянки, а исключительно для традиции.

Васильев выпил и зажевал корочкой. А Ходулин, устроившись в бутафорском кресле, начал делиться секретами:

— Я тебе вот что расскажу, Олег Петрович. Только ты не передавай никому. Потому что секрет. Короче, два года тому назад поехали мы на открытие нового клуба колхоза “Путь к коммунизму”. С нами духовики и пара солистов. Приехали. Зал полный набит. Плюнуть некуда. Пора начинать, а духовики кричат, что ихний трубач, Воробейчик, не приехал. И что без него никак нельзя, потому что у него соло. Ну ты же Воробейчика знаешь — музыкант от Бога, но...

Так вот, стали суетиться, названивать. Короче, через час приволокли этого Воробейчика. А он никакой. Плоский, как фанера. В общем, отпоили беднягу нашатырём, на сцену посадили. А у него соло в первой же вещи. Вот оркестр:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик и не может в мундштук попасть.

Лабухи, не прерываясь, начали сначала:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик — и снова мимо мундштука.

Коллектив опять с первого пункта начинает:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик. Напрягся — да как блеванёт струёй в первые ряды!

Васильев знал эту историю, но все же посмеялся специальным актёрским смехом, и довольный Ходулин налил ещё по рюмочке.

— Не могу! — замахал руками Васильев. — Веришь ли, Кудрик снюхает — пропал я тогда.

— Ладно, — милостиво согласился Ходулин. — Я и сам управлюсь.

И Васильев пошёл за кулисы.

А там уже носилась Елена Михайловна, то всплёскивая короткими ручонками, то поправляя причёску. Увидев Васильева, она обрадовалась:

— Господи! Олег Петрович! Хоть вы-то пришли! А то разбежались все, как крысы.

— А что случилось? — спросил Васильев.

— Как что? — удивилась Елена Михайловна васильевской неосведомлённости. —

Механика сцены сегодня не вызывали, потому что Добежалов сказал, что сам справится. Сказать-то он сказал, а сам взял и ушёл. И теперь ни кулисы опустить, ни задник... Даже как занавес открыть, никто не знает.

— А что? Игорь Николаевич послал всех небось? — спросил злорадно Васильев, подходя к пульту.

— Он не только послал, — пожаловалась Кудрик, — он так послал, что я до сих пор краснею.

— Хорошо, — снизошёл Васильев, — давайте ключ от пульта. Я всё сделаю.

— Ох, Олег Петрович! — вскрикнула Елена Михайловна, — ключ Добежалов с собой забрал. В том-то и проблема, что ключа нет.

— Ну я даже не знаю... — засомневался Васильев, — на занавес можно двух студентов поставить. Раздёрнут вручную. А кулисы и задник... А зачем, собственно, они нужны? Будем как бы модернисты. А портрет Поэта поставим на трибуну. Подкатим трибуну к стене, а портрет на неё. Публика подумает, что это такой смелый режиссёрский ход.

— Но мы же наследники великих традиций реализма! — завелась было Кудрик, но тут же остыла. — Но выхода у нас нет. Нет у нас другого выхода.

Васильев вышел в фойе. Там уже собирался зритель — учащиеся ПТУ, которых привели завучи по воспитательной работе.

Васильев отловил двух мальчишек, провёл их на сцену, показал, как открывать занавес, и строго наказал никуда не отлучаться. Потом Васильев подкатил к кирпичной стене трибуну с резным гербом Советского Союза и поставил на неё пушкинский портрет в изложении Янки Дуста. Но портрет держаться не хотел — скользил по трибуне. Пришлось поставить впереди графин с водой и упереть портрет в графин. Васильев подумал и для завершения композиции поставил рядом с графином стакан. Потом отошёл на несколько шагов и полюбовался своей работой. Лицо у Пушкина на портрете было довольное. Как будто он уже хорошо отпил из этого графина и собирался приложиться ещё. Васильев тоже остался доволен собой.

Застрекотали звонки, духовики перебрались из фойе в первые ряды партера, и на сцену вышел Иосиф Адамович Морок. Без привычной трибуны было Иосифу Адамовичу несколько неуютно, но он и виду не подал. А раскрыв папку с текстом доклада, начал вещать. Говорил Иосиф Адамович долго, и из его речи стало понятно, что если бы не Поэт, то русские люди вряд ли бы научились говорить по-русски, что с именем Пушкина бойцы Великой Отечественной поднимались в атаку, что целинники держали при себе томики со стихами Поэта, что имя Александра Сергеевича и сегодня ведёт молодёжь на стройки коммунизма. И поэтому всё просвещённое человечество радостно празднует годовщину со дня смерти великого Поэта.

Толкая свою восторженную речь, Иосиф Адамович два раза назвал Александра Сергеевича Семёновичем и один раз Степановичем, но зал на эти мелочи не обратил внимания. Отличники, сидевшие в первых рядах сразу за оркестром, были погружены в свои мысли, а остальной народ развлекался как мог. Кто-то читал, девчата шёпотом сплетничали, в задних рядах играли в карты.

После выступления Иосифа Адамовича духовой оркестр сыграл “Прощание славянки”, и на сцену вышла Ника Воскресенская. Выдержав паузу, чтобы собрать внимание, она начала:

— Во глубине сибирских руд...

Васильев тут же подсказал, спрятавшись у портала:

— Сидят два мужика и срут.

Ника послушно подхватила:

— Сидят... — но вовремя спохватилась и вырулила, — сидят в Сибири. Товарищи!

Храните гордое терпенье!

И благополучно дочитала до ленивых аплодисментов.

Проходя мимо Васильева, Ника прошептала грозно:

— Всё, Олег! Ты покойник! Можешь звонить и заказывать рытьё могилы!

Николай Фёдорович Скумбрик, стоявший рядом с Васильевым в ожидании своего выхода, чуть не лопнул со смеху. Но всё же вовремя вышел и сыграл кусочек из “Венгерской рапсодии”.

Словом, всё пошло и покатило.

Васильеву стало скучно, и он пошёл на перекур. В кучке курящих лабухов Васильев увидел цыгана Мишку Бейнаровича, вспомнил борщёвский совет и обрадовался. Он отвёл Мишку в сторонку и спросил:

— Миша! Помоги, будь человеком. Мне тут посоветовали к цыганам обратиться... Тут, понимаешь, такое дело.

— Твоё дело решить, как два пальца опоганить, — засмеялся Бейнарович. — Мне тётка ещё вчера сказала, что ты будешь проситься. Да ты, Петрович, не волнуйся.

Тётка сказала, что сделает.

Васильев помолчал немного, переждал, пока мурашки на коже исчезнут, и спросил:

— Миша, а как я твою тётку найду?

Она сама тебя найдёт, когда нужно будет.

— А когда же это “нужно” настанет? — вякнул Васильев.

— Увидишь, когда, — объяснил Мишка. — Как настанет, так сразу и увидишь.

И ушёл к своим.

Васильев постоял немного и тоже вернулся на сцену. Там готовился к выходу Владлен Гаврилович. Он то и дело закатывал глаза и подносил ладони к вискам, чтобы каждый мог видеть, как серьёзно и с полной отдачей относится Владлен Гаврилович к порученному делу.

Васильев собрался было съязвить, но Елена Михайловна взмахнула рукой, и Владлен Гаврилович вышел к рампе. Там он постоял некоторое время молча, слегка наклонив голову набок.

Настоявшись, Владлен Гаврилович объявил:

— Александр Сергеевич Пушкин. “Бесы”. — И снова замолк. А помолчав, забормотал вдохновенно:

— Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна...

Пробормотав это, Владлен Гаврилович снова замолк. И по этой паузе, которая была неприлично долгой, Васильев понял, что Щепотько “заклинило”. В васильевской практике было несколько таких случаев, когда из памяти исчезал текст и вспомнить его было невозможно. Поэтому Васильев не позлорадствовал, а искренне посочувствовал Щепотько. А тот начал сначала:

— Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна... — и снова замолк.

У Васильева возникло поганое предчувствие. Ему стало казаться, что и с ним произойдёт нечто подобное.

А Щепотько, устав повторять одно и то же, истерически выкрикнул:

— Домового ли хоронят? Ведьму замуж выдают?

Поклонился и ушёл гордой походкой.

А к Васильеву подбежал Ходулин:

— Слушай, Олег! Такое дело... — от волнения пальцы Ходулина бегали по полам пиджака, как по клавиатуре аккордеона. — Ты вникни... Нам Свиридова лабать. Из “Метели”. А я ноты перепутал. Взял “Время вперёд”. Так что ты смотри, никому. А пипла схавает. За это я спокоен.

Васильев кивнул головой в знак согласия и собрался пообещать Ходулину, что он никому и никогда, но со сцены ушла Милиция Афанасьевна, исполнявшая романс “Отцвели уж давно хризантемы в саду”. Это означало, что настало васильевское время.

Васильев посмотрел в зал и вдруг ощутил себя маленьким, слабым человечком, похожим на обезьянку. Он вспомнил, как в детстве ему связывали руки за спиной, чтобы он не грыз ногти. Он понял внезапно, что его никогда и никто не любил по-настоящему. Он увидел себя такой пылинкой под колёсами этой огромной и безжалостной машины, называемой Государством, что ему стало страшно.

Вот таким маленьким, жалким и потерянным начал Васильев читать.

И это было так необычно и так откровенно, что Васильев услышал тишину. Ту самую тишину зала, тот наркотик, ради которого и живёт артист, ради которого он терпит эту, унижительную по сути, профессию.

Васильев закончил читать, ушёл уже со сцены, а тишина всё ещё стояла в зале, пока не обрушилась грохотом аплодисментов.

Они ещё гуляли эхом от стены к стене, а к Васильеву уже бежала заведующая отделом культуры Марта Яновна. Она схватила Васильева за руку и зашептала:

— Как же вы это так, Олег Петрович? Как же это вы осмелились? Это же подрыв устоев, чтобы не сказать больше!

Васильев и рта раскрыть не успел, как рядом стоял Иосиф Адамович:

— Мы Ваше поведение, товарищ, немедленно рассмотрим на расширенном заседании идеологической комиссии Горкома. И мы не дадим Вам спуску, на это и не надейтесь.
— А когда состоится это заседание? — глупо спросил Васильев.
— Немедленно! — прокричал Иосиф Адамович.
И Васильев очутился в конференц-зале Горкома.

ГЛАВА 13

Васильев огляделся. Впереди за столом президиума восседали все завотделами Горкома. В зале дружной кучкой сидели работники отдела культуры, театральное начальство и ведущие актёры. Отдельно кучковались представители прессы и примкнувшие к ним Косяков и Шмяк. Таня Крайняя уже успела задремать, но блокнот и авторучку из рук не выпустила.

Васильев взял стул и устроился между президиумом и залом.

— А вот Вы, товарищ Васильев, встаньте, когда о вас товарищи откровенно и калёным железом! — строго сказал Иосиф Адамович, которому, судя по всему, было доверено вести заседание.

Васильев улыбнулся:

— Спасибо, Иосиф Адамович, мне вполне удобно.

— Вот это, товарищи, и показало в очередной раз звериный и аморальный оскал артиста Васильева, — начал Иосиф Адамович. — Вот именно это неуважение коллектива, вот это неприкрытое хамство, вот этот эгоизм и привёл Васильева к идеологической диверсии и — я не побоюсь сказать — к моральной деградации. К нам поступило заявление от одной из жертв этого развратника, на которой Васильев пообещал жениться и коварно лишил невинности. А сколько ещё таких неопытных девушек будут искалечены этим моральным извращенцем!

Есть мнение, что таким, как Васильев, не место в системе нашей культурно-просветительской работы.

Хотелось бы послушать коллектив, в котором работал этот декадент и хиппи. Что вы скажете, товарищи?

В зале повисла тишина. Артисты поглядывали друг на друга и молчали. Наконец поднялся Владлен Гаврилович:

— Товарищи! — голос Щепотько зазвенел от негодования, — вы сами знаете, как я относился к Олегу Петровичу. По-дружески и с уважением. Но после того, что случилось сегодня, после того, как Васильев замахнулся на самое святое, что у нас есть, принизив образ великого Поэта, я говорю, что Васильеву я руки не подам. Да, Олег Петрович, да! Я не подам вам руки...

— А кто тебе, мудака, руку-то пожимать собрался? — удивлённо спросил Васильев. Зал зашептался, и Иосиф Адамович постучал карандашиком по графину с водой, восстанавливая тишину.

Васильев встал со стула и, чётко артикулируя, произнёс:

— А пошли бы вы все!.. — закончить фразу по-добежаловски у Васильева не хватило духу. Он вышел и так хлопнул дверью, что зазвенели стёкла. Васильев шёл к выходу, впервые за всё время, пока он был в Городе, ощущая себя человеком, и от этого ему было хорошо и весело.

С таким вот настроением вышел Васильев на улицу и увидел, что стёкла звенели не так просто. Окна Горкома осыпались блестящей крупой на тротуар, а из оконных проёмов воздушными шарами выплывали работники аппарата. То стайками, то по одному, они поднимались к облакам и взрывались там весёлыми фейерверками.

— Олег! Что же это происходит? — спросила Ника. Она, оказывается, вышла вслед за Васильевым.

— Дутые величины были, — нашёл решение Васильев. — Вот оно и произошло.

— А хотите, я вам стих про городские памятники скажу? — спросил Косяков, сидящий на ветке старой липы.

— Нет, Светлан, не хотим, — ответил Васильев.

— Ну не хотите — как хотите, — согласился Косяков. — Памятников на мой век хватит. Потом он запел:

— Летят перелётные птицы... — и улетел грустный.

— Я пойду, Олежка, — сказала Ника. — А то мои перепугались, наверное.

И ушла утешать встревоженный коллектив.

А Васильев направился к дому, удивляясь тому, что Город опустел. Ни одного человека не встретилось ему, пока он дошёл до площади. А на площади уже не было памятника Ленину. Вместо памятника красовалась огромная песочница, в которой сидел мальчик и лепил куличики из песка. Васильев подошёл поближе и увидел, что это не мальчик, а капитан Фесенко в шортиках и панамке.

— Хочешь поиграть, гражданин Васильев? — спросил Фесенко. — У меня как раз запасные формочка и совочек есть. Садись. Не стесняйся.

— Нет уж. Я лучше постою. Я как-нибудь в следующий раз.

— Смотри. Была бы честь предложена, — сказал Фесенко. — А так бы приехал в свою Америку не просто так, а как диссидент и мученик совести. Мемуары бы написал.

— Там мемуарщиков и без меня пруд пруди, — улыбнулся Васильев и пошёл по центральной улице.

Васильев шёл по этой, такой знакомой, улице и не узнавал её. Вместо домов стояли огромные открытки, подпёртые палочками, а некоторых зданий не было вообще. Возле васильевского дома на крыльце “Кулинарии” сидела Валентина и плакала.

— Вы что это? — пожалел её Васильев. — Что-то случилось?

— А Вы не видите? — Валентина заплакала в голос. — Народ исчез. Вы что, не видите? Нет в этом Городе людей! Исчезли! А у меня, между прочим, встречный план и повышенные обязательства...

— Вы не плачьте, пожалуйста, — порылся в карманах Васильев, нашёл деньги и протянул Валентине, — а принесите мне торт и банку кильки в томате. Моя кошка эту кильку просто обожает.

Валентина обрадовалась, и уже через пару минут Васильев входил в свою квартиру с банкой и коробкой. Но ни Константина, ни Милки не было. Васильев открыл банку, выложил содержимое в кошачью мисочку, оставил торт на столе и снова вышел на улицу. Там всё ещё убивалась безутешная Валентина.

— Вот это вам, — сказал Васильев и протянул Валентине ключи на цепочке.

— Что это? — насторожилась она.

— Это ключи от моей квартиры, — сказал Васильев. — Живите. И дай вам бог хорошего мужа. Только кошку кормите и домовому иногда пирожное...

Васильев думал, что Валентина обрадуется, а она заплакала ещё сильнее.

— Эй, залётные! — раскатился звонкий крик, и к Васильеву подкатила тройка вороных, запряженная в старинные дрожки. Там сидела красавица-цыганка в таком цветастом платье, что у Васильева зарябило в глазах.

— Это Мишкина тётка! — догадался Васильев и тут же усомнился, — молодая что-то для тётушки.

— А ты садись, золотой, не сомневайся! — прокричала цыганка. — Какой же русский не любит?

И Васильев прыгнул в дрожки.

Ох, понеслось, загремело, заухало! Звенело монисто на цыганке, ржали кони и щёлкал кнут.

Васильев глазом не успел моргнуть, как въехали в лес и остановились у аккуратного домика. Из домика выбежал цыган в красной рубахе и схватил коренного под уздцы.

— Пойдём, Олег Петрович, — пригласила цыганка. Она уже стояла у дверей дома. — Заходи. Гостем будешь.

Васильев зашёл в дом и, робея, спросил:

— А вас как зовут, простите?

— Кирка меня зовут, драгоценный, — ответила цыганка, накрывая на стол.

У Васильева прошёл мороз по коже:

— Это из “Одиссеи”, что ли? Кирка, которая людей в свиней превращала?

— А чего их превращать-то? — удивилась цыганка. — Кто человек, тот человеком и будет, — превращай его, не превращай. А свинью и превращать не нужно. В дом вошёл Николай, управившийся, видно, с лошадьми:

— У нас тут ферма целая, — похвастал он, — на мясокомбинат сдаём. Большая выгода от этого.

— Что? И меня на мясокомбинат? — ужаснулся Васильев.

— Надо бы, голубчик, мой, надо бы, — заворковала Кирка, — посвинячил ты в жизни как надо быть. Правда, народ говорит, что в последнее время, вроде, и человеком был. Поэтому садись, ешь, пей и ни о чём таком не думай. Полночь пробьёт — дадим тебе шанс. Обернёшься ты чёрным кабаном. Если убежишь от Николая — значит, убежишь. Нет — не обижайся. Чёрным кабаном и останешься.

— Сейчас как раз дичь в цене, — сказал Николай, накладывая в тарелку варёную картошку.

Васильев собрался было возмутиться, но часы на стене начали звонко отбивать двенадцать, и Васильев увидел, как покрывается он кабаньей щетиной. А Николай тут же обернулся горячим жеребцом и прокричал:

— Минуту форы даю, а потом уж не сетуй, родимый!

И Васильев рванул в чашу!

Он нёсся напролом, сердце выпрыгивало, дышать становилось нечем, а Васильев мысленно ругал себя:

— Спортом надо было заниматься, дурачина, а не литрболом! Тренироваться надо было!

И вот, когда позади уже слышалось радостное ржание Николая, что-то лопнуло у Васильева внутри, зазвенело гитарной струной, и Васильев очутился на мокрой от росы скамейке автобусной остановки.

Звук лопнувшей струны всё ещё жил в занимающемся утре, и Васильев подумал:

— Вот и финал “Вишнёвого сада”. Лакей Фирс умер.

Потом посмотрел расписание автобусов. Экспресс Ленинград — Рига останавливался здесь в пять пятнадцать утра. Васильев глянул на часы. Они не только шли, но и показывали, что сейчас четыре сорок восемь. Ждать оставалось недолго. Васильев закурил и проверил карманы. Паспорт и обратный билет в Нью-Йорк были при нём. Васильев облегчённо вздохнул и почесал левую ногу, которая зудела до невозможности. Но вместо своей ноги он обнаружил кабанью с раздвоенным копытцем. Ладно, что так, — утешил себя Васильев. — Мне бы только до дома добраться, а там придумаем. Ваксинг — или пластическую операцию... Только бы добраться, а там решим.

Беззвучно подкатил автобус. Васильев поднялся по ступенькам и обратился к водителю:

— Мне один билет до Риги.

— А с какой целью вы едете в Город? — оскалился шофер волчьими клыками. Васильев онемел. Но водитель тут же превратился в нормального человека и выдал билет.

— Это что у вас за обувь такая странная, сэр? — спросил у Васильева чёрный таможенник в аэропорту Кеннеди, рассматривая васильевское копыто.

— Это национальная обувь, сэр, — гордо ответил Васильев.

— И что? В вашей стране все так ходят? — усомнился таможенник.

— Нет, конечно, сэр. Только те, кто сохраняет традиции.

— Понятно... — уважительно протянул таможенник и жестом показал Васильеву, что он может проходить.

Васильев уже вышел из ванной и переоделся, когда пришла жена, обвешанная пакетами.

— Олешка! — закричала она с порога, — я тут тебе всё купила, что надо. Такой сейл был, такой сейл! Так что о сувенирах беспокоиться не нужно.

— О каких сувенирах? — насторожился Васильев.

Как — о каких? — удивилась жена, выкладывая на стол маечки, кепочки, прочее барахло. — Ты же завтра в Город улетаешь. Забыл? Вот и билеты под телефоном лежат.

Тогда Васильев собрал все эти сувениры в пакет и понёс выбрасывать в мусоропровод. И уже возвращаясь обратно, увидел, что кабанья нога исчезла, а осталась его родная.

Васильев взял билеты, внимательно рассмотрел их, потом порвал на мелкие кусочки, сложил обрывки в пепельницу и поджёг.